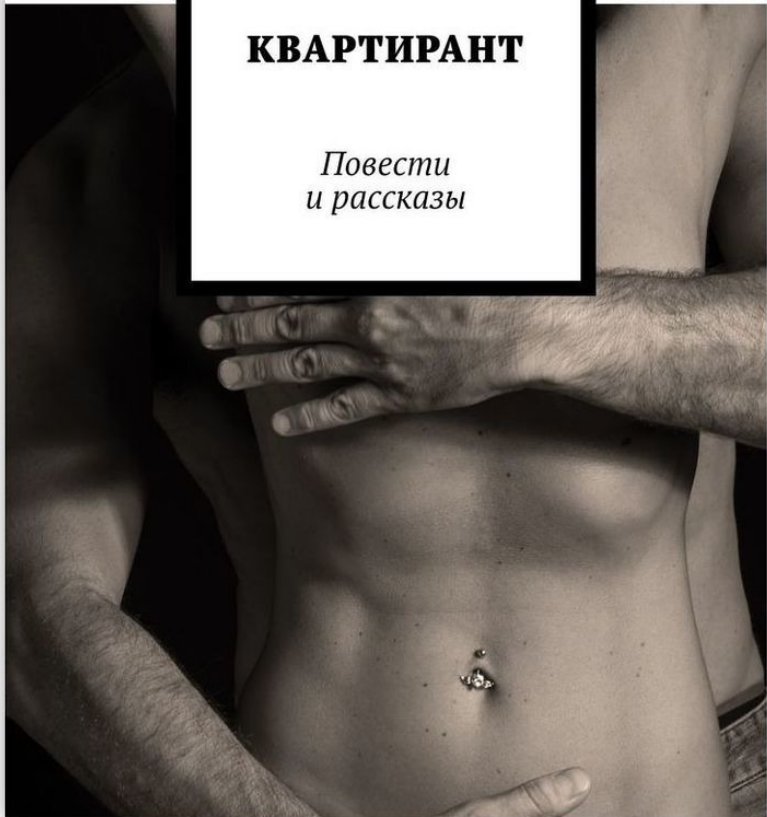


18+

Валерий Осинский

КВАРТИРАНТ

*Повести
и рассказы*



Валерий Осинский

Квартирант.

Повести и рассказы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40521697

ISBN 9785449627063

Аннотация

В книге «Квартирант» собраны повести и рассказы Валерия Осинского, опубликованные в разное время в толстых литературных журналах, отдельными книгами и входившие в антологии. Их автор – кандидат филологических наук, финалист престижных литературных премий. По повести Валерия Осинского «Квартирант» Наталья Гундарева предлагала написать пьесу. Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

Квартирант	6
2	10
3	12
4	14
5	17
6	23
7	24
8	29
9	31
10	37
11	44
12	48
13	52
14	58
15	71
16	104
17	106
18	109
19	117
20	121
21	124
22	128
23	133

24	141
25	145
26	151
27	155
28	158
29	160
30	166
31	168
32	172
33	175
34	185
35	191
36	196
ВЕРНОСТЬ	198
Конец ознакомительного фрагмента.	209

КВАРТИРАНТ

Повести и рассказы

Валерий Осинский

© Валерий Осинский, 2020

ISBN 978-5-4496-2706-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Квартирант

Повесть

1

Когда история открылась, знакомые навесили на мой прежний образ провинциального простачка новый ярлык: подающий надежды негодяй. Их поразили цинизм двадцатилетнего парня, облапошившего «старуху».

Начну с семейства моего московского дяди, младшего брата матери.

Мои ежелетние визиты совпадали с отпускными паломничествами в столицу многочисленных родственников Раевских (фамилия дяди), и стесняли московскую родню. Я от природы ласков, если меня хвалят. Увы – редко! И с годами чаще раздражал дядю колючей настороженностью безотцовщины и прямолинейностью провинциала. Родственные отношения замыкались любезным: «Как мать?» Помню за полночный высокомерный треп Раевских, ассимилированных москвичей в первом колене, на кухне о культурно-политической жизни страны, и неизменный совет тети Наташи, сорокалетней мадам с накладными ресницами и рыжим шиньоном на затылке: «Прочти „Розу мира“, остальное можно не читать!» Тетя преподавала в каком-то техническом вузе по собственной методе, без конспектов: экспромтом зачиты-

вала учебник. Дядя Кадя по образованию инженер, по должности чей-то зам, что для домочадцев делало его фигуру одиозной, считал себя философом. Его метод познания исключал книжные и прочие знания: они засоряли первородную мысль. Дядя, по его выражению, постигал истину внутренним чутьем. Обычно он попыхивал сигареткой и едва слышно, под благоговение присных разгибал вензеля своих банальных несуразностей. Дочери Раевских, мои двоюродные сестры Феня и Катя, круглые троечницы, между кухонным трепом и школой, соответственно с четырнадцати и тринадцати лет, цыганили в кабаках дармовые коктейли у пожилых денежных импотентов. В общем, мои родственники люди добрые и терпимые. Но жили мы разной жизнью. И никак не могли привыкнуть друг к другу.

Тем летом на недостроенной веранде дачи Раевских, в дембельском кителе, увешенном блестящими побрякушками, хмельной от свободы и поцелуев, накопившихся за два года, я по-армейски прямо ошарашил дядю – он празднично заикнулся о моих планах – «Пропиши меня в Москве!»

Что ждало меня дома? Спивающиеся дружки, стареющая мать (отец нас давно бросил), безработица. Вся моя биография: дискотеки, пивбары, похотливые шестнадцатилетние дуры, программно-библиотечные, нудные книги и скука заштатного города. Я еще не знал: люди живут везде, блеск столицы – красочный фасад балагана, где каждый за себя, где тупеют от усталости и одиночества. Я грезил Москвой,

удачей, и не думал отступать.

Дядя осторожно спросил: «А что ты будешь делать здесь?» «Не знаю!» Гнетущая паническая пауза и недвусмысленный намек: «Посоветуйся с мамой. Когда решишь, поговорим!» Серая от испуга тетя Наташа усиленно терла виски. «Я узнавал в милиции, просто так меня у вас не пропустят, – доканывал я родственников. – Идти ментом по лимиту – пять выброшенных лет. Да и жить придется у тебя. Не в общежитии же. Я говорил с Катей. Ей восемнадцать. У нас разные фамилии. Мы можем фиктивно пожениться...»

Катя курила в кресле-качалке, независимо скрестив ноги лошадиного изящества. Ее прыщавая физия дозревающей девственницы (в целомудрии сестры, правда, не уверен: в квартире давно прижилась проститутка Ия, подруга сестер, а как говорят, с кем поведешься...) выразила готовность вступить в фиктивное супружество.

Блестящая идея жениться на двоюродной сестре потрясла родню. Сироте деликатно объяснили его заблуждения. Во-первых, кровосмешение; во-вторых, Катя с малолетства подозревалась в слабоумии (часто она разгуливала по квартире при мужчинах нагая) и могла ляпнуть, где угодно, что угодно; а в-третьих, жилплощади-то избыток, но на черта я тут сдался?

Закончилось объяснение скандалом. С юношеским максимализмом я решил навсегда порвать с дядей.

Раевские ремонтировали квартиру. В памятную неделю

семейных страстей меня поселили в одну из бесчисленных московских многоквартирок к хорошей знакомой дяди, женщине пенсионного или около того возраста, к Елене Николаевне Курушиной. От нее в угрюмом настроении, ничего хорошего не ожидая от жизни, я уехал домой, твердо намериваясь вернуться.

2

Хроническую болезнь мегаполисов – одиночество – каждый лечит по-своему.

Сначала Елена Николаевна цеплялась за работу, затем придумывала обязательства перед московскими знакомыми, еще помнившими ее. Отец Курушиной некогда занимал пост при Подгороном. За стеклом серванта чиновные пиджаки вокруг вождя на групповом фотоснимке растворили неразборчивый лик Курушина. Давно в ее прошлом были университетские разгулы золотой молодежи, муж, мишура жизни. Родители оставили деньги, позволявшие ей не работать. В первую неделю хозяйка рассказала о себе. Нет грустнее истории о жизни, растраченной впустую.

Такой я и запомнил ее: миниатюрную, суховатую, с неизменным пуховым платком на плечах и пронзительными, усталыми, зелеными глазами, подведенными черным карандашом. Она называла меня «дружок», ходила неслышно и легко. Ей было тогда сорок восемь лет.

Погоди, как же это было? Лето, день укрытый теплым московским небом. Дядя ввел меня в ее крохотную квартиру со старомодной мебелью, женщина развела руками и безразлично-любезно сказала:

– Вот, дружок, если тебе нравится, оставайся!

У нее был грудной голос, приятный и тихий. Еще пом-

ню пышные каштановые волосы, уложенные вокруг головы. На кухне бормотала радиоточка, а в гостиной звонко тикали декоративные часы в узорном стекле. Я обмолвился и назвал ее Анна Федотовна. Женщина насмешливо вскинула бровь, поправила меня и прибавила «милый Герман».

Что-то во мне тронуло ее. За несколько вечеров, как в поезде с безмянным попутчиком, которого завтра растворит время, мы сблизились.

В день отъезда хозяйка собрала мне гостинцы: продукты, ароматное мыло, махровое полотенце – из щепетильности я отказывался принять. (Но принял!) В поезде мне стало грустно, попросту хотелось плакать.

Уже тогда ядовитый росток замысла отравил ее и мою жизнь.

3

И вот я снова в Москве.

Курушина накрывала на стол. На ней был голубой байковый халат, в волосах яркие китайские заколки. Она пользовалась ими в торжественных случаях.

Я плюхнулся в зачехленное кресло, осмотрелся. Ничего не изменилось. Фаянсовые слоники на серванте, стеклянные часы, диван под лохматой накидкой, цветы в глиняных горшках, книги. Женщина управлялась с тарелками неторопливо и ловко. При ходьбе полы халата открывали белые, стройные икры. Я рассеянно подумал: человеческое тело стареет медленнее лица.

– Что ты намерен делать?

– Я вам писал...

– Да, да, дружок. Извини.

Я украсил письма ей примерно следующим: «...дядей Степой – ни за что!», и «...лучше всю жизнь кочевать в киргизской палатке, чем кланяться на стройке за постоянный штамп в паспорте». Словом, не маялся мятежной тоской о родительском доме. Ни я, ни Елена Николаевна, мы не встречали человека, рвавшего из Москвы.

Скоро я уплетал ее «фирменные» домашние пельмени с бульоном и черным перцем.

– Знаешь, что я подумала? – вдруг спросила Курушина.

Она закурила, облокотилась о стол и внимательно посмотрела на пламя догоравшей спички в своих тонких, длинных пальцах, с алыми, ухоженными ногтями. – У меня есть знакомые. Они обязаны моему отцу. Одно время мы дружили. У них дочь примерно твоих лет. Хочешь, я поговорю с ними. Может, они согласятся устроить ваш брак. Пока поживешь у меня. А там решим...

Забыв разжевать, я проглотил и обжегся. Покосился на женщину. Почему она помогала мне? Хотела удержать? В общем, это ее дело.

– Понадобятся деньги, – подумав, согласился я. – У меня таких – нет.

– После отца остались фамильные драгоценности, занесенные в каталог. Я тебе их как-нибудь покажу. Уникальная коллекция. Подаришь девочке что-нибудь, как от себя. Заработаешь – отдашь.

– Не бойтесь, что я обману вас? Вы ведь меня совсем не знаете!

– Боюсь! – полусерьезно ответила она. – Но ты ведь хочешь остаться в Москве? И надеюсь, твой дядя поможет мне с тобой справиться, если что!

Мы улыбнулись.

Я прильнул щекой к руке Курушиной и она ласково пригладила мои волосы.

Но в двадцать лет я уже не верил в бескорыстие людей. Чтобы верить человеку, надо владеть его душой.

Перед армией, на День рождения дяди меня познакомили с семьей его институтского приятеля. И их дочерью, моей ровесницей и подругой сестер.

Неля была застенчивая тихоня, худенькая, остроносая, белокурые волосы барашком, малокровное, угловатое лицо. Она стеснялась своей внешности. Но имела собственные суждения и, по-моему, как и я, едва терпела треп Раевских. Папаша – он, кажется, владел швейной мастерской – не скупился на дочь. Неля хорошо одевалась. Мои сестры завидовали ей, и злились, как только начинали говорить о девушке.

Перед армией я два или три раза приглашал Нелю в кафе. В ее присутствии на меня, будто надевали стальной корсет, в голову насыпали опилок, а язык пришивали к небу сапожными гвоздиками. Застенчивость, похоже, и сблизила нас. Из армии, помнится, я написал ей несколько писем.

Почти за два с половиной года я изменился: не Казанова, но и не «одуванчик». Пока, как говорят армейские, я тащил службу, мать, скромный заведующий детсадом, подкопила денег и одела любимого сынулю в модное по тем временам барахло. Дорогуший джинсовый костюм «Левис», поляроиды, кроссовки – настоящий «Адидас»! – и золотая нить на шее. Еще старшеклассником, в заношенных, по щиколотки брюках, ненавистных до слез, я ловил на себе любо-

пытные взгляды девчонок. Но воображал их разочарование моей рубашкой, линялой от стирки, и школьным пиджаком, вытертым на рукавах, и трусил. Армейская хэбэшка меняет представления о моде. Короткую стрижку я предпочел нечесаным патлам и козлиной бороденке. Плюс загорел за два месяца пляжного сибаритства в промежутках работы посудомойкой в курортном пансионате.

Назавтра после приезда я отправился в магазин, где Неля (по сведениям двухмесячной давности от сестер) проходила институтскую практику.

Она повзрослела, и, скажем так: оформилась в женщину. Но летние веснушки, ее хрупкие, как птичьи лапки, кисти рук, пушек на предплечьях и застенчивость напоминали прежнюю Нелю.

В кафе «Космос» на втором этаже мы с девушкой отхлебывали из фужеров шампанское и ковыряли оловянными ложечками мороженное в пластмассовых чашечках на длинных ножках. Едва тлевший разговор, казалось, снова сближал нас. Сновали официантки в крахмальных передниках и пилотках, баловались за соседним столом дети, десяток студентов сдвинули стулья и разряжали летнюю духоту взрывами смеха.

Я не сказал Неле о главном: о намерениях в этом городе. В те годы прописка в Москве означала работу на выбор, а не по лимиту, делала «белой костью», в моем представлении, ровней москвичам. Меня не пускали в парадную

Москвы, вынуждали изворачиваться между крючками законов. После летних вояжей к дяде мне казалось: москвичи, вежливые и доброжелательные в переходах метро или в двух шагах от нужного приезжому магазина, как пограничники дают отпор вторжению чужих в их мир. Завести связи здесь, как и в любом новом месте, можно через друзей, которых у меня нет. Мои мрачные фантазии изумили б Нелю. Но я боялся открыть ей свой уродливый мир.

Я проводил девушку. И попросил не говорить Раевским, что вернулся.

Ее каблучки гулко стучали под аркой дома. А я, сцепив за спиной руки, думал: ни на Неле, ни на другой девушке, о которой говорила Курушина, я не женюсь. Хозяйка квартиры самая подходящая жертва.

Мне помог случай.

У одного писателя есть: в катехизисе добродетелей и достоинств современного человека, способность приобретать деньги, чуть ли не главный пункт. Соотечественники же от века не только не умеют много приобретать, не воруя, но и тратят зря и безобразно. Тем не менее, все хотят пристроится в жизни. Я не исключение. Как многие эгоисты, я ленив и нетерпелив. Хочу всего без усилий. И чтобы не придумала несчастная женщина, или кто иной, мне во благо, я уже подсознательно херил благодетеля. Можно ли положиться на прихоть человека, который вдруг соскучится по своему уютному одиночеству, разгадает во мне негодяя и отшатнется. Не-е-ет, подайте мне в полное распоряжение чужую душу. К чему мне доброта Курушиной! К чему мне проснувшееся в ней материнское чувство! Плевать на него: у меня есть родная мать. Мне нужно было все, чем старушка владела. Мне нужно было «зацепиться» в этом городе. Ведь, дикая, беспредельная власть – хоть над мухой – это тоже своего рода наслаждение. Человек – деспот от природы и любит быть мучителем. Назовете это раскольниковщиной-растиньяковщиной? Глупости! Я никого не собираюсь убивать или обирать ради юродивой идеи общего счастья. Человек должен захотеть сам отдать мне себя. Легкий успех – вот мой

идол. В двадцать лет, с меня будет убогой жизни матери, родственников, знакомых нищих и честных дурачков, столетнего преемственного труда, терпения, ума, характера, твердого расчета, аиста на крыше!

А знаете, люблю я людей: мягкий, податливый материал в умелых руках! Овладейте мастерством его обработки, и ваши успехи поразят всех!

В двадцать о женщинах у меня были следующие представления!

Чтобы понравиться им, нужно усвоить несколько общих правил: никаких стереотипов поведения, умение ориентироваться по обстоятельствам, смелее фантазировать, быть остроумным, напористым и неординарно преподносить чепуху. Хитрите, придумывайте самые диковинные фокусы, пластайтесь тряпкой перед женщиной, и впустую, если не поймете сокровенное в ней. А поймете: говорите и делайте банальности, и вам простят. Важно учитывать занято ли сердце женщины, многое зависит от обаяния, от... Да мало ли премудростей известно ищущему человеку. Нет неприступных крепостей, есть бесталанные полководцы. Да! Бог вас упаси изощряться над тупицей. Но если вас привлекают женщины примитивного ума, трафите им: проще мыслишки, чтобы вас поняли, не напугались, и вы в дураках не остались. (Невольный каламбурчик!)

В общем, ничего я, куколка, о женщинах не знал.

На слово поверьте: психически я нормален; во всяком

случае, к специалисту не обращался. (Хотя, это не говорит о здоровье!) Те месяцы вызывают у меня отвращение к себе и жалость к старушке. Но даже моему раскаянию лень бороться с подлецом внутри меня. Впрочем, к делу.

Рассуждал я так. Принято, что порнографические фильмы в большинстве смотрят мужчины, а не женщины. Даже на публике мужчина перелистает пикантный журнал, а женщина – нет: от застенчивости, из стыда, брезгливости... Но всякий наблюдательный человек найдет хоть один обратный пример в поведении тех и других. В десять лет на людном пляже я видел, как женщина средних лет, с вислым животом и «спасательным кругом» на боках, прикрывшись широкополой панамой и темными очками, возле мужской раздевалки, ибо, как говорят, негде было яблоку упасть, поворачивалась лицом к решеткам перегородки, устроенной полуоткрытыми жалюзи, когда ячейку занимали молодые мужчины. Позже я с ее угла взглянул на косою срез досок и обнаружил: раздевалка просматривается насквозь, что не заметно на расстоянии.

В сауне пожилая уборщица подглядывала за моим приятелем, настоящим красавцем с хорошо развитой мускулатурой. Он заметил ее и посмеялся: «Пусть кейфанет бабуся!»

А наши детсадовские шалости, нынешние тети и дяди: что мы вытворяли под одеялами, стоило няне отлучиться! Это потом мы повзрослели, закоснели, цивилизация залакировала нашу половую непосредственность! Иногда в постели я

спрашивал женщин: стесняются ли они на меня смотреть? Как правило, они хихикали или пожимали плечами, и зыркали под живот, если я поднимался за сигаретами. Думаю, и в пятнадцать, и в семьдесят в здоровой женщине, хотя бы дремлет половой инстинкт. А вот как глубоко он спрятан в ней за моралью, условностями, всем тем, что заставляет людей думать об этом, но не говорить открыто, знает только женщина. И только она знает о своих тайных желаниях.

Природа приятно потрудились над моей внешностью. Поверьте без доказательств: не клеить же фото. В армии и после я режимил: выполнял ненавистную гимнастику под манометр сиротских песен «мальчиковых» поп групп, обливался холодной водой. Добрые шутники утверждали: кабы я занялся своим телом и надумал сниматься для глянцевого журнала, плакаты с изображением Сталлоне и Шварценнегера обесценились. Словом, был физически развит, и как говорят, хоть не Марчелло Мастоияни, но умел понравиться женщинам.

Первое время на «гражданке» я просыпался в шесть утра, сколько не клялся себе отоспаться за два года службы. По моему подъему можно было проверять часы: без пятнадцати шесть веки автоматически открывались, а мозг спал. Курушина тоже вставала рано.

Накануне мы просидели с хозяйкой за шахматами часов до двух ночи и основательно уигрались. Женщина спала. В комнате с подзвоном тикали часы. Утренняя прохлада со-

чилась через распахнутую форточку. В дремотной тишине дома чирикание воробьев на подоконнике казалось оглушительным. Ежась от холода, я захлопнул форточку и шмыгнул под одеяло. Сплю я полностью раздетый из соображений гигиены.

Солнце нагрело спальню. Я откинул одеяло: решил поваляться и встать. Тыльной стороной ладони прикрыл глаза, и задремал.

Прошло что-то около получаса. За стеной послышались шаги. Или мне снилось. Тут рядом с диваном скрипнул паркет. Я осторожно приоткрыл веки. Женщина нерешительно стояла надо мной. Под моей кистью не видела глаз. Я из озорства передумал натягивать одеяло. Представил себя глазами Курушиной: юнец в сонной неге; луч золотит выгоревшие волосы на груди; одеяло меж бедер, белая полоса загара, и мягкие, податливые во сне мужские очертания; гибкая кисть, прикрывает лоб, и чуть подрагивает. Может, ей захотелось укутать меня, как мальчишку. Или беспардонное вторжение смутило ее...

Я обернулся. Дверной проем зиял рассветным полумраком.

Спустя час я умылся и вышел на кухню завтракать оплавленными в духовке бутербродами с сыром. Елена Николаевна курила у окна.

– Доброе утро! – приветливо сказала она, и улыбнулась. Одними губами. В квадратной пепельнице из стекла были

намяты свежие окурки...

Я боялся взглянуть на ее руки и увидеть на вялой коже светло-коричневые пигментные пятна старости. Но рука женщины с простым золотым перстеньком на безымянном пальце была изящна и гибка.

Этим утром что-то произошло. Что – я еще не понимал.

6

Тем же вечером, еще не успев переодеться после выхода в город, румяная и запыхавшаяся, Елена Николаевна вошла в комнату, где я сонно листал книгу, и живо сказала:

– Они согласны! Правда, Оксана в Сочи и вернется в конце месяца. Родители поговорят с ней. Что ж, подождем, дружок!

Я осоловело вылупился на Курушину.

– А-а, эти! Что же делать целый месяц? Искать Оксане царицыны черевички?

Курушина, обиженная сарказмом, пожала плечами и сухо ответила:

– Отдохни, посмотри город, – стянула газовый шарфик и направилась к себе.

Машинально зацепившись взглядом за ее фигуру, я брезгливо представил, как касаюсь губами дряблой кожи, светло-желтой подержанной плоти, обоняю кислую духоту старого тела, обнимаю, вероятно, костлявые, сухие плечи под зеленой синтетической кофточкой и лгну к вялой груди...

Тут воображение забилося птицей в силках и замерло.

Так, верно, патологоанатом в морге с рутинным неудовольствием отмывает трупный жир, по неосторожности попавший под лопнувшую резиновую перчатку.

С завидным терпением, проверяя свое неожиданное открытие, я прививал женщине вкус к обнаженной натуре. Спал до обеда, или около того. Для этого методично «глотал» тома в их порядковых номерах на корешках. Если Елене Николаевне случалось войти ко мне, женщина неизменно заставляла идеально скомканное в ногах сонолюбивого постельца одеяло, на полу у дивана широченную подушку на четыре мои головы и двухметрового пупсика, бесстыдно разметавшегося во сне. Долгое, ленивое пробуждение сопровождали переговоры через всю квартиру. Наконец, голод пересиливал основной инстинкт, я вскакивал и одевался напролет распахнутой двери. Хитрый стратег постельных баталий! Беспечно болтая, я зорко следил за мутной тенью хозяйки на полу коридора из кухни. Едва тень прекращала маячить от плиты к столу и от стола к умывальнику, и стремительно густела, я нырял в плавки, и, повернувшись к двери полубоком, невинно натягивал их от колен, будто не подозревал, что женщина, потупившись, торопливо скользит в свою комнату. (Где, наверное, падала в обморок от грандиозных фокусов сорванца: злая шутка!). Юный склерозматик специально забывал в комнате на стуле полотенце, и после душа, как Аполлон Бельведерский, прикрывшись для приличия дверью, просил принести, протягивал руку и невзна-

чай ослеплял женщину наготой. Пропагандировал бесстыдство, как мироощущение современного поколения, о котором Курушина почти ничего не знала. Старательно дразнил в ней женщину.

Мою безнаказанность поощряла почти абсолютная замкнутость нашего сосуществования и разница в возрасте почти в тридцать лет. Конечно, я боялся оказаться в дурацком положении. Кто знает, что она думала обо мне? Но голых-то детей мы не заподозрим в дурном!

Я ругал себя психом. В темноте, обхватив голову, вспоминал свои представления накануне, и горел от стыда. Клялся, что завтра прекращу хулиганить. Но утром забывал клятвы и придумывал новые нудистские трюки, чтобы охмурить бабу.

Курушина же принимала мои ухищрения, как я их и преподносил: рассеянность и больше ничего.

По вечерам мы зевали у телевизора или играли в шахматы. Я балагурил, паясничал, забавлял ее рассказами о дядином семействе, уличными наблюдениями о прохожих. Она укоризненно кивала и повторяла: «Разве так можно о людях?» Но ей была приятна моя открытость.

За продуктами я ходил сам. Курушина наотрез отказалась (к моему тайному облегчению) брать с меня деньги за постой. Иногда мы прогуливались в ближнем парке у пруда.

В один такой вечер она рассказала мне, как умирала ее мать. Где-то одиноко трещала цикада. Квакали лягушки. Из-

под декоративных неухоженных кустов и мохнатых каштанов по мутно-светлой асфальтовой дорожке расползлся вечерний сумрак. И я подумал: молодость этой женщины закончилась, в сущности, не так давно. Если бы я знал ее раньше, то на моей памяти. Ее любили, целовали. Так же не спеша, брела она с кем-нибудь по засыпающей аллее, и им было хорошо, просто и сладко тревожно. Я так явно представил ее живые, чистые глаза, пышные, густые каштановые волосы, улыбку свежих губ, ее легкую, летящую походку, смятые белые цветы, гибкое, молодое тело, счастье ее юности, что невольно обернулся на трафаретно четкий темный силуэт на голубовато-матовом фоне пруда. И не увидел сутулости и примет одряхления, в которых себя убеждал. Что-то мохнатое защекотало мои глаза и грудь внутри, и я с трудом поборол желание обнять ее. «Бред!» – буркнул я, и видение рассыпалось. Женщина ничего не заподозрила. Отмахиваясь от наседавших комаров, она повернула назад: «Они сожрут нас, дружок!»

Но воспоминания о вечере еще долго беспокоили память, как музыка, мотив которой забыт, а одинокий аккорд звучит.

С утра дождь никак не решался окропить высушенный жарой город. Я сидел в постели, опустив в тапки ноги, и размышлял, как убить день.

– Ты встал, пожарный? – шутливо спросила Курушина, вплывая в двери с пластмассовой леечкой, покосилась – одет ли я? – и, привыкшая к моему расхлестанно-

му виду, отогнула тюлевую занавеску, чтобы полить цветы на подоконнике. Изобретательный молодец сладко потянулся, неторопливо выпутался из одеяла и шагнул к стулу за вещами, как раз, когда женщина обернулась. Курушина остолбенела, спохватилась и порывисто подошла к цветам на балконном окне.

– Ты оделся? – сухо спросила она через плечо.

– М-м-угу...

Тогда она вышла, не взглянув на меня.

Озноб, сопровождавший сумасбродный поступок, сменили стыд и отвращение к себе. Я прибирал постель, вещи, долго плескался в душе: готовился доигрывать эпизод. Придумал десяток отговорок...

И вспыхнул после первой ее фразы.

– Артур, я женщина, – укоризненно проговорила Курушина и затаилась сигаретой. От подоконника, скрестив на груди руки, она смотрела на позор постояльца: я своевременно сел на табурет. – Ты ведешь себя не красиво. Ты уже не мальчик! – Я едва не провалился на первый этаж, но крепился изо всех сил. – Не смотри на меня невинными глазами, дружок. Ты прекрасно понимаешь, о чем я! – Ее губы кривила ухмылка. – Я заметила еще в первый день! (Что она заметила, ослу понятно!) Ты перед матерью ведешь себя так же? Не знаю, может у вас это принято...

– Нет, перед матерью нет! – пробормотал я.

– Есть такая болезнь...

– Да нет же! – уткнув пылающее лицо в ладони, я шумно выдохнул через нос. И тут – озарение! Во мне проснулся актер. – Со мной такое впервые. С первого дня, когда я вас увидел, мне хочется прикоснуться к вам. Я говорю ерунду, правда? Но, но... – я сглотнул, и, потирая прикрытые веки (какой пассаж!) унял дрожь в голосе, – ...я не могу избавиться от наваждения.

Курушина побледнела и прищурилась от струйки сигаретного дыма.

– Да, – она кашлянула. – Давай, Артур, забудем этот разговор! – Она поняла мой отчаянный стыд и помолчала, чтобы я успокоился.

Но я не унимался и вкрадчиво произнес:

– Если вам сразу не понравилось мое поведение, почему вы не сказали об этом в первый день?

Курушина нахмурилась, и щеки ее порозовели. Но вдруг она неслышно засмеялась, и обхватила ладонью подбородок. Кружевной край ее ночной рубашки выпорхнул из рукава. Так же быстро женщина успокоилась, и все с той же иронией в глазах посмотрела на квартиранта.

– Ловелас, да ты настоящий Ловелас! – Она укоризненно покивала. – Ешь, картошка совсем остыла! – Погасив сигарету, она легонько пихнула мою голову.

У меня было ощущение, будто я пытался обмануть себя.

8

Позорное разоблачение сломало во мне пружину зла. Из школярского нежелания признать превосходство опыта и ума Курушиной над жалкими детскими хитростями я продолжал свой фарс. Через силу, с липким ощущением внутри. А она молчала. И ее молчание бесило меня.

Меня бесило в ней все: как она курит, сигарета между пальцами, кисть руки подпирает локоток – эдакая светская дамочка из третьего подъезда; как тщательно и неторопливо расправляет жабо старомодной кофты из зеленого шелка; у зеркала красит яркой помадой губы; манерно прибирает невидимками пышные, накрученные вокруг головы волосы; бесила ее сомнамбулическая походка в миг раздумий; деликатное шуршание в клозете при моем приближении, ее опрятность; загадочная улыбка моны Лизы; миниатюрные тапки с помпонами, делавшими ее походку неслышной; хрупкие плечи. Мне хотелось крикнуть ей в напудренное лицо, в подведенные простым карандашом глаза: «Старуха! Смешная комедийная старуха!» Хотелось насладиться беззащитностью воспитанного человека перед хамом. Но ее женственность, породистая стать – поражали! Не помню у знакомых сверстниц такую непринужденную грацию, не нарочную собранность даже дома: без всякого насилия над собой. Моя фантазия переносила ее на тридцать

цать лет назад, оживляла образ молоденькой девушки, дочки крупного руководителя, беспечной, легкой, не подозревавшей о существовании десятков миллионов мне подобных. Ее образованность изумляла меня, недоучку. Стендаля, Гете и Стейнбека она перечитывала в подлиннике. Где-то в глубине ее сердца тлели несбывшиеся надежды, переживания. Он она была проста и общительна. Куда делось глупое, жестокое зло моего первоначального замысла! Теперь каждое утро я ждал ее пробуждения. Забыл забавные трюки стриптиза, забыл город, свои амбиции. И обреченно наблюдал в себе симптомы болезни, тяжелой, продолжительной, плохо излечимой.

9

Я встречался с Нелей, потому что никого, кроме Раевских и двух трех человек в городе не знал. Мы вместе с девушкой коротали время и ладно.

Наша культурная программа обычно замыкалась немногочисленными барами за кофе с коньяком, или мы уезжали загорать в Строгино, где даже в будни праздный люд утешался теплой водой большой мутной лужи.

Мы поджаривались на солнце в рыжей пыли от энергичного топтания пляжных волейболистов, среди обгоревших ляжек, задов, носов, заклеенных кусочками газет, пестрой выставки пледов, подстилок и надувных матрасов. На пляже я отдыхал от прожорливых мыслей.

– Где ты живешь в Москве? – спросила Неля.

Она приподнялась на локте и поверх темных очков из-под панамы мухомора взглянула на меня. Ее подмышечная впадина углубилась, а бретелька комбинированного купальника провисла, и слабая грудь в веснушках, с набухшим розовым соском стыдливо выглянула из бюстгальтера. Я зарыл лицо в переплетенные пальцы.

– Да, так. У знакомой.

Девушка, очевидно, тоже легла ничком. Ее голос прозвучал глухо:

– Отец сказал, ты живешь, у какой то женщины.

Я насторожился.

– Еще он сказал, что она на пенсии...

– Она обходится без подачек. Дядя доложил?

– Наверное...

Мы какое-то время слушали визг девицы: трое шутников тащили ее к воде.

– Катя рассказала мне, почему вы поссорились с дядей.

– И что ты думаешь?

Она пожала плечами и вздохнула. Меня же словно просвечивали рентгеном, и с профессиональным любопытством тыкали пальцами на темные пятна черно-белого снимка. Легко догадаться, откуда родственники узнали о моем пристанище. Я покривился от мысли, словно бормашина дантиста впилась в ткань зуба: не наболтала ли хозяйка квартиры лишнего!

– Твоей матери не трудно содержать тебя третий месяц? – надоедала Неля.

– Наверное, трудно, – я пожал плечами. Леня было напоминать о работе в приморском пансионате.

– Мой двоюродный брат третий год нигде не работает и не учиться, а его мать на него не надышится...

– Обычное дело для Москвы. Мои сестры тоже нигде не работают. Спасибо за аналогию.

– Не злись. Просто... мне кажется ты не такой, как они говорят. А какой, не пойму.

«И я не пойму!» Воображение нарисовало конфиденциальное совещание старых приятелей, их участие в мальчике. Я закусил губу. «Зачем она это сделала?»

Остаток дня я отвечал невпопад, и Неля, казалось, жалела о пляжном разговоре. В баре я перебрал и плелся за девушкой. Меня раздражала ее манера затягивать шаг на высоком каблуке («Да еще своими циркулями!» – с пьяной злобой думал я.), отчего ее волосы на затылке колыхались, как грива лошади, понуро бредущей в гору, открывали худую шею и острые позвонки. Кроме мелочности этим вечером, я обнаружил в себе огромное хранилище злости к Курушиной.

Еще помню багровый закат над плоскими крышами, испачканный грозowymi тучами, и уплывающую мишень замочной скважины.

Хозяйка открыла дверь, и постоялец ввалился в прихожую. Изображение прыгало вправо и на исходную точку с частотой шумевшего в ушах пульса.

– Ты пьян? – Курушина обомлела.

– Чуть-чуть, – поскромничал я, и, пошатываясь, заковылял мимо, на ходу сбрасывая одежду. – Привет от дяди!

– Ты что-то сказал? – спросила ошеломленная Елена Николаевна.

– Дяпану звонили?

Курушина разговаривала со мной как с трезвым, поэтому поежилась, и, нервно кутаясь в пуховый платок, чуть высокомерно ответила:

– Да, я с ним разговаривала...

– Все ясно...

– Что ясно?

– А то, что он мелит всякую дрянь! Что я живу за ваш счет и... – я всхлипнул: вероятно, действительно изрядно нахлебался.

– Что за вздор! – Курушина растерянно вошла в комнату. – Кто тебе это наговорил? Аркадию звонила твоя мать, сказала, что ты в Москве. Ты за месяц не удосужился написать ей. Аркадий очень удивился и перезвонил. Я подтвердила, что ты у меня.

Она так расстроилась, что не заметила моей наготы. Я голый развалился на диване. И перевел дух: женщина стала молчаливой соучастницей моих натурастских спектаклей. Вся злость и оскорбительные слова ей, словно груды щебня высыпались за окно. Я понес слезливую ахинею, признавался ей в любви, лез обниматься и, спотыкаясь, ковылял в ванную. Она нянчилась со мной, позволяла приставать и укладывала на свой диван, куда я рвался, посмеивалась и с шутовым удивлением повторяла: «Какой же ты пьяный!»

Но алкоголь почти не действует на мою память. В возбуждении я старался коснуться ее бедра, живота, руки, словно грубовато играл с подружкой, и отвлекал ее болтовней. Я был достаточно пьян, чтобы перебороть стыд, но трезв для наслаждения от вынужденного прикосновения одежды женщины, скользнувшей ладони. Я обнимал и прижимал ее

бедра (на удивление упругие) к животу. Однажды женщина не отстранилась и на мгновение ее рука замерла на моем плече, голова поникла, и мне показалось, Елена Николаевна вздрогнула. Но, угадав мое напряжение, почти экстаз, торопливо подтолкнула ухажера к постели. Я рухнул на диван и потянул ее за собой. Она кулаком уперлась мне в лобок, испуганно рванулась, пристально посмотрела в мои глаза. Но я притворно загоготал и вытянул губы трубочкой к ее щеке.

Она не уходила, поправляла подушку, подбивала одеяло, и, когда я хватал ее кисть, обнимал за талию, скользил рукой по низу ее живота, женщина твердо, но не резко отстранялась. Казалось, оба мы играем, и списываем игру на пьяную ночь, о которой завтра забудем. И это блаженство продолжалось, пока я не провалился в пестрый звездопад.

Я лежал в предрассветном сумраке с открытыми глазами, разглядывал цветы на обоях, выступавшие в прозрачном свете зари, и пугливо вспоминал давешний разгул. Воображение тщетно рисовало дряхлую старуху, ее морщинистые, сухие руки, вялое тело. Наваждение сводило меня с ума, но я не противился жуткому похотливому желанию – казалось, постыдному – повторить...

На кухне я смущенно расспрашивал о вчерашнем буйстве, извинялся и жадно ловил ее жесты, выражения лица, которыми она выдаст себя. Я хотел целовать эти руки, ласкавшие мое тело не лаская.

Курушина помешивала ложечкой в кастрюле и иронично

повторяла на мои оправдания: «Почудил, почудил». И оба мы молчали о моих шалостях, которые прекрасно помнили.

Затухал один из тех августовских вечеров в Москве, когда тесная квартира, словно превращаются в спичечный коробок, и чувствуешь себя пойманным жучком, хочется на волю.

Мы прогуливались в парке рядом с домом. Деревья заботливо прятали за дырявыми кронами алый закат, и в кристальной тишине, по зеркальной глади пруда отчетливо, до каждого слова перекатывались голоса людей.

Курушина спросила, есть ли у меня девушка? Я рассказал про Нелю.

– Морочу ей голову...

– Ты о понорошной женитьбе? – Я кивнул. – Пригласи ее к нам!

Я прикинул: с одной стороны Неля удовлетворит любопытство, с другой – хмыкнул – Елена Николаевна увидит мою «любовь».

– Хорошо. Когда?

– Хоть завтра!

– Идет. Я позвоню ей.

Утро заняли хлопоты: магазин, кухня, уборка квартиры. Курушина готовилась не на шутку.

– Будьте проще! – пожурил я хозяйку. – Девушка без комплексов, чайком с сухариками побалуется...

– Вот и предложишь Неле на выбор! – отшутилась Курушина.

Она преобразилась. Мне доставляло удовольствие вертеться на кухне, то взбивать миксером яичные желтки в железной миске, то выполнять простейшие кулинарные задания.

– Когда был жив отец, – рассказывала Елена Николаевна, – мы даже двери не закрывали. У нас постоянно были гости. На кухне кто-нибудь обитал, либо я, либо мама. Наша домработница тетя Ира... Что ты хмыкаешь? Буржуазные замашки? – она развела испачканными в муке руками, цыкнула уголками губ, мол, что поделаешь – такие мы! – и разве-селила меня. – Она научила меня многим вкусным вещам!

Куда исчезли ее томность и размеренные движения, выученные мною наизусть. Я вдруг понял: она всегда была общительной и веселой, и лишь Артур мрачный наградил ее в своем воображении манерностью, заточил в этой квартире. Что я знал о ней, о ее окружении? Умиление хозяйкой не покидало меня все часы, что я мешался рядом.

С Нелей мы назначили встречу после работы у входа в метро.

Еще вечером Курушина наметила бигудями сложную прическу – не успевала в парикмахерскую, – и теперь хлопотала в газовой косынке. Перед выходом я заглянул в комнату Елены Николаевны. Женщина перебирала в шифоньере платья. Этот древний монстр исторгал из распахнутой двер-

цы густой нафталиновый душок.

– Что вы наденете? – спросил я.

– Вот! – бодро ответила Курушина, расправила одну из допотопных жабостых кофточек и подол траурной юбки. – Или, вот! – уловив выражение лица притязательного костюмера, предъявила она платье-балахон. Я скептически pokrивил рот.

– Это дружеское чаепитие, а не официальный прием. Черные наряды неуместны. Разрешите! – я потеснил хозяйку на стуле, и врлся в тряпье, плотно спрессованное на плечиках. – Наденьте что-нибудь простое. Но не застиранный домашний халат. Вам еще далеко до черных платочков и савана.

– Что же мне девочкой рядиться? – Курушина засмеялась и постаралась отстранить меня от вещей. Я удержал ее руку.

– Ничего здесь не годится. Вы что-нибудь обновляли за последний год?

Она задумалась, и извлекла из ящика симпатичный бежевый свитерок. На отвороте болталась магазинная бирка. Я мысленно скомбинировал свитерок и темную прямую юбку, и выдернул ее из вещей.

– Да ты с ума сошел! – всплеснула руками Курушина. – Это носили еще в шестидесятые, когда я была чуть старше тебя...

– Мода возвращается каждые двадцать лет с новым поколением. У вас красивые ноги, как у недотроги!

Я решительно захлопнул шифоньер.

Женщина фыркнула, но взяла вещи, поднялась со стула, и принялась попеременно прикладывать их и рассматривать в вытянутых руках.

До метро автобусом, затем пешком, плюс настоящие женщины всегда опаздывают и назад, заняло часа полтора. Неля, как всегда перед походом в незнакомое место, отмалчивалась. Настроивалась. На девушке было джинсовое платье с коротким рукавом, универсальное для всех случаев жизни, и выглядела она вполне торжественно-заурядно с букетом чайных роз в прозрачном коконе.

Наконец, мы пришли.

В отечественном прокате, помниться, одно время были популярны ленты о преображении невзрачной женщины-начальника, или картотечной сватки из общежития в обалденных красавиц. В конце фильма они приводили коллег, знакомых и зрительный зал в экстаз, сравнимый, разве, с потрясениями от Изауры или мексиканской Маруси (хотя, латинскому мылу далеко до отечественного кино). Метаморфозы реальной жизни потрясли молодого циника (во всяком случае, считавшего себя таковым) гораздо больше перевоплощений Алисы Фрейндлих на экране.

Открывается дверь, я натыкаюсь на джинсовую спину спутницы, золоторунным барашком волос заслонившую вид, и, когда дневной свет, наконец, ломит сузившиеся зрачки, я нокаутирован.

Позже на улице Неля обратила внимание не только на ее браслет – золотую змейку с бриллиантовыми глазками – и серьги, но добавила с несвойственной ей развязностью:

– В молодости она была шикарная женщина. Это потрясно!

Выходя из состояния гроги, я уловил тончайший запах духов и туманов. Сердце забеспокоилось. Перед очарованной парой стояла изящная женщина лет тридцати или едва более того, в бежевом легком свитерке, выгодно обрисовавшем ее высокую грудь и худенькую талию. Прямая, чуть ниже колен юбка, красиво очертила узкие бедра незнакомки. Словно точенные миниатюрные ножки в лакированных остроносых рюмочках с опустившимися на них кожаными бабочками поражали пропорцией со всей ладной породистой статью. Женщина держала подаренные цветы, как новорожденного, бережно и нежно. Знаю, более придирчивый взгляд немедленно впился бы в ее шею, чтобы, как по зубам лошади определить свежесть, с линейкой и лупой в зрачках принялся бы измерять миллиметры пудры на лице, считать морщины. Пусть их! Меня потрясло тождество моего воображения, рисовавшего молодость женщины, и реальности, сокрушивших миф о злом всемогуществе лет. Непостижимо! И постигать я ничего не хотел и не хочу.

Ее лицо... Ее лицо? Откуда я помню ее лицо, в той очарованной дали, куда уводит меня память сердца! Волшебное сияние глаз, свет, лившийся из ее души в мою душу, слепив-

ший каждый закуток дворца феи.

Возможно, со стороны торжественный вид хозяйки выглядел нелепо рядом с двумя серыми воробьями-гостями из повседневной жизни. Но, когда королева пригласила нас в комнату, я, зачарованный, робко поплелся за молодой пассией.

Елена Николаевна, как и утром, оставалась собой. Но в том и неповторимость этой женщины: без усилий оставаться собой на вершине, недоступной многим даже в минуту наивысшего напряжения. Если бы я осмелился заподозрить двух женщин в соперничестве, то Нелю в моих глазах не спасала даже ее юность, дающая форы ухищрениям опыта.

Как у нее это получилось? Просто! Человек показал в зеркало матери природе язык, подмигнул и остался тем, кем она его создала: совершенством.

Из невнимательно прочитанных книг и дрянных постановок я впитал странное представление о светской беседе: ожившие манекены со слащавыми улыбочками обмениваются словесными штампами. А застольная граненая болтовня парней моего круга обычно заканчивалась панибратством с хозяйским унитазом.

Курушина говорила совершенно обыкновенные, на мой взгляд, вещи, но, околдованная ее обаянием тихоня Неля, за час выложила ей историю своей жизни от записанного детства, до коммерческого магазина папы, и еще через полчаса женщины о чем-то шептались, перекуривая на кухне.

Я слонялся за ними и чувствовал себя пустым местом.

Кого ты хотел обольстить, к кому думал воровато забраться в душу, злобный отличник дворовых университетов? Я смотрел на Елену Николаевну и смеялся над собой зло, ехидно, с издевкой. Вот, когда гаденыш во мне жалобно пискнул, затрепыхался и утих, выпустив ядовитую слизь.

На дне фужера мне виделся уже единственный друг, крепкий алкоголь мутило мозг, но сохранял память. Как бы я хотел забыть тот вечер, месяц. И не ныло бы внутри так сладко и больно от зубастых воспоминаний.

Я напился. Затем посадил Нелю в такси и каким-то чудом вернулся в нужный подъезд. Голос девушки барабанил в наглухо забитую бочку моего сознания: «Она одинока, потому что люди ее круга забыли ее. А такие, как мы не понятны. Она любит тебя, как сына. Она много о тебе говорила!»

Затем я вскарабкался по ступенькам на четвертый этаж и, уткнувшись в колени, подвывал, слизывая тошновато-горькие слезы с углов рта. Я любил ее. И совершенно трезво мерил непреодолимое расстояние между островом и материком, которым никогда не соединится.

Я горько сморкался на ступеньках перед квартирой своей первой любви, пришибленный противоестественным чувством: мать – ровесница любимой женщины. И всего минуту назад я проводил симпатичную девушку. Свою девушку! Проводил безразлично, как вчерашний, дождливый день. Уж кто бы, как ни она зло посмеялась над взбалмошным влюбленным!

Я ввалился в квартиру, как в Гефсиманский сад, и с мужеством приговоренного, заковылял на кухню-Голгофу.

– Я уезжаю! – повернул я чугунный язык, и тюком плюхнулся на табурет.

– Девушке что-то не понравилось? – отложив тряпку, осторожно спросила женщина. Как мне хотелось обнять ее талию и ладонями нарисовать линию ее бедер. Я уткнул подбородок в грудь.

– Наоборот...

Хозяйка облегченно продолжила полоскание посуды.

– Вы поссорились?

– Да.

– Печально. Трогательная девочка. Надеюсь, все не так жутко и вы по...

– Я сказал ей, что люблю вас!

Курушина положила последнее вымытое блюдо в сушиль-

ку. Отжала тряпку и вытерла руки, всеми этими манипуляциями затягивая и без того огромную паузу. Затем подвинула табурет и села рядом. Поправила набок мой куцый чуб и, заглядывая в глаза, облокотилась о сжатые колени.

– Спасибо, дружок...

– Да я люблю вас не так, как вы думаете! – почти крикнул я в пьяном отчаянии. – Я люблю вас по-настоящему, как мужчина любит женщину! Зубоскальте, недоумевайте, вразумляйте! Не поможет! – Я вскочил – табурет грохнулся о пол. – Я хотел вышвырнуть вас из вашей квартиры, как старую тряпку, которой уже не вытирают обувь! Понимаете? Вы пустили в дом подонка, для которого ничего не свято, кроме своих гнусных желаний. Ну что, что я нашел в вас, чего не видел в других женщинах!

Я зло рассказал о ненависти первых дней, о издевках, которыми оскорблял ее привычки, одежду, внешность, и, наконец, – о восхищении.

– Почему это случилось со мной? – стонал я. – Ладно, если бы я не видел женщин! Так, нет! Я пьян! Завтра мне будет горько, но не стыдно за этот вечер. Разве можно стыдиться самого дорогого, что есть. Я вас люблю, хоть пьяный, хоть мертвый! – Я сел на пол и закрыл голову руками.

Курушина курила сигарету за сигаретой, мышцы ее лица обвисли, искривив подковой вниз углы губ. Она, казалось, сразу постарела, ссутулилась, и ее нос с горбинкой некрасиво покраснел, глаза померкли, и только чистые холодные ка-

мешки золотых нитей в ушах, подрагивали всякий раз, как женщина стряхивала пепел.

– Я рада, что ты мне все рассказал...

– Не думаю!

– Ты, наверное, считаешь меня старой дурой, с рефлексами бездетной... Извини, дружок, я уже начала выражаться так же велеречиво, как ты! Не стану лгать, я не подозревала о том, что ты мне сейчас сказал. Ты мне симпатичен. И это не басня про петуха и кукушку. Анализировать твои достоинства я не берусь. Хотя тебе, вероятно, любопытно послушать. Ты кое-что знаешь о моем прошлом. Я не всегда жила здесь... – она секунду подумала, словно вспоминая. – Ты загнал себя в угол. Тебя слепит блеск той моей жизни, желание прикоснуться к ней. погоди! Я стареющая, обыкновенная женщина. Живу, как и многие, сегодняшним днем, и может, немного – тщеславными воспоминаниями. Допустим, ты бы мне нравился, как ты выразился, как мужчина. Но ведь этого мало. Разве ты не встречал просто симпатичных людей. Может, мне потом будет неловко, но откровенность за откровенность. Если ты думаешь, что в женщине под пятьдесят, для тебя – старухе, отмирает интерес к многогранной жизни, ты ошибаешься. Теперь ко мне редко кто заглядывает. И твое появление – событие. Молодой, красивый! Но моя молодость прошла. Смирись. Не ставь нас в безвыходное положение. Это не достойно людей, способных найти компромисс. А за твое признание спасибо! Приятно почув-

ствовать себя, хоть чуточку моложе того, что ты есть! – Курушина примирительно улыбнулась.

– Как младенцу все разжевали. Нравишься – не нравишься! – процедил я, и упрямо спросил. – Так я вам все-таки нравлюсь?

– Конечно! – в ее тоне не было ни иронии, ни кокетства, лицо снова подобралось до мельчайшей черточки, пронзительные глаза вспыхнули.

– Что же теперь делать? – гробовым голосом спросил я.

– Спать! Завтра я иду к людям, которые согласились нам помочь. Их девочка на днях вернулась.

Я обречено кивнул и посидел, свесив с колен руки и тупо глядя в пол.

Укладываясь, я знал – это только начало! – и заснул с радостью и страхом.

Мы старались не замечать памятного вечера, слонявшегося между нами. Но с равным успехом можно ходить босиком по талым весенним лужам, внушая, что на ногах теплые, непроницаемые сапоги.

Матери я отправил сухое «уведомление» о здоровье и со-
врал, что нанялся разнорабочим. В моем кожаном шмеле
осталось несколько мелких ассигнаций и медяки.

Дня через два Елена Николаевна разбудила меня утром
и показала подарок невесте. Я лениво выпростался из-под
одеяла в утреннюю прохладу сентября и, зевая, склонился
рядом: Курушина сидела за столом. Золотая змейка с кро-
шечными бриллиантовыми глазками свернулась двойной
спиралью на белой скатерти. Великолепная ювелирная рабо-
та поражала тонкостью отделки мельчайших наплавных че-
шучек и сходством с каким-то мелким древесным оригина-
лом.

– Не жалко отдавать?

Я взял браслет, чтобы лучше его рассмотреть.

Курушина сложила ладони кулаком и опустила подборо-
док на плечо, искоса поглядывая на змейку. Затем решитель-
но вздохнула, словно прощаясь с браслетом, и выпрямилась.

– Сегодня сходи, познакомься с ними.

Серовато-голубые облака-барашки резвились наперегон-

ки с холодным ветром. Будущие родственники жили у Павелецкого вокзала, в желтой пятиэтажке под дробным номером и с обшарпанным двором. За ориентир мне назвали старинные бани. Идти к чужим людям с рекламацией жениха от женщины, которой днями признавался в любви – не грулейшая ли гримаса обстоятельств!

Если, поднимаясь по ступенькам, я сомневался, отдавать ли благодетелям драгоценность близкого человека, то за порогом квартиры, после визита, уверенно показал увесистый кукиш рыбьему глазку двери.

Папаша невесты, сухонький, остролицый и голенастый, как кузнечик, с залезанным после душа зачесом, в тренировочных, голубых рейтузах и в кожаных шлепанцах на босы ноги, развалился в кресле, рассеянно «мдакал» жене, и языком звучно ковырял между зубами. Мамаша, совершенно обыкновенная жена «кузнечика», в длинном халате, перед включенным телевизором пролистывала «Москву». Флегматичная, луноликая дочка с черными вьющимися волосами и красными веками больших добрых глаз, словно отбивала наказание. Когда я вошел, женщины уставились на меня, как на свирепого носорога в зверинце, с почтением и страхом. Похоже, семейство «пигмеев» редко посещали гиганты выше ста шестидесяти сантиметров ростом.

Я сел на диван под перекрестный допрос будущих родственников: кто мои родители, круг увлечений, страдаю ли я несварением желудка...

После первых ответов они насторожились.

– Если рекомендаций Елены Николаевны вам достаточно, назовите вашу цену за услугу? – оборвал я любопытство папаши.

Тот заерзал в кресле, жена вылупилась на него, дочка – на меня.

– У вас я не появлюсь. Все расходы – на мне. Главное, чтобы вы не передумали. Жаль будет потерянного времени!

Лицо папаши покрыли багровые пятна. Похоже, он ворочал в голове глыбы мыслей. Но я не дал ему придавить меня ими.

– Елене Николаевне понадобилась ваша... – я сделал едва уловимую паузу -... дружеская услуга. Ничего постыдного в вознаграждении нет. Ведь так?

Папаша насупился. Эх, не купеческой ты, кузнечик, хватки, роскошной, самодурной удали! Торговаться не приучен!

Конечно, будь я старше, ни за что бы, ни рискнул дразнить и так то напуганных людей. Но терпеть их снисходительность к Елене Николаевне я не мог!

В коридоре папаша прокашлялся в кулачок и назвал сумму. Две тысячи рублей, при тогдашних расценках на прописку в полтары.

– Что ты им наговорил? – набросилась на меня Елена Николаевна, едва я переступил порог ее квартиры. – Алексей Владимирович (даже не пытался запомнить!) только что звонил. Он шокирован! Говорит, ты слопаешь меня в полчаса.

Отговаривал связываться с тобой. Сказал: мол, выживешь...

– А разве, нет?

Курушина порывисто ушла, но спустя минуту вернулась с зажженной сигаретой. В ее глазах набухли слезы.

– Ты ставишь меня... – Она шмыгнула носом.

– Никуда я вас не ставлю!

Я подробно передал ей разговор.

– Пусть болтают! Безотцовщина и дворовой я. Какой с меня спрос! А друзья ваши – дрянь!

Курушина тяжело вздохнула. Она присела рядом на диван, кутаясь в платок. Потом притулилась к моему плечу.

– Спасибо, дружок! Я тоже в первый раз с этим сталкиваюсь. Тяжело! – и потом. – Пропадешь ты со своим характером. Не любишь ты людей!

Я готов был сидеть с нею вечность под дремотное тиканье часов. Мне хотелось целовать ее руки, волосы, губы. Но боязнь нарушить торжественность минуты, спугнуть счастье, удержали меня.

Даже сейчас я не могу сказать, чем, кроме молодости понравился Лене. Поразить воображение опытной, умной женщины мне, недоучке, было немыслимо. Она легко различала крошечные пятна на моей совести. Мои самонадеянные суждения о жизни, о людях окрашивали два противоположных цвета. Читал я много, бессистемно и не впрок. Мои скорые выводы забавляли ее. Например, я презирал тургеневского Рудина. Непротивление нетерпимого Толстого считал фарсом. Достоевский, по моему мнению, лечил поврежденную расстрелом психику написанием мрачных романов. Современную отечественную литературу находил ангажированной и скучной. Импортную – свежие пятна детства: Хемингуэй, Ремарк, Фолкнер, Фицджеральд, Стейнбек, Лондон и прочие – по мере того, как у нас их переводили и издавали, набор у всех примерно один – называл фантазиями сытых. В моем представлении капитанская дочка Пушкина, вполне могла выйти замуж за Зверобоя Купера, и они коротали бы сотню лет в мрачном замке Кафки. Своими безвкусными каламбурами я смешил Елену Николаевну до слез. Понятия о музыкальной культуре клубились в моем сознании фиолетовым дымом тяжелого рока. В живописи мне нравилась три топтыгина на конфетной обертке...

Духовная скудость – мостки к нравственной. Служба в ар-

мии разделила для меня людей на пастухов и стадо: чем крепче хлыст, тем подопечные послушнее. Я презирал нищету: презирал людей упитанных духовной пищей и без гроша, либо наоборот. Круг моих знакомых не имел ни того, ни другого. Безусловно, я жалел мать, вспоминал друзей детства...

Вряд ли Елену Николаевну прельщала духовная посредственность розового бунтаря. Курушина встречала людей достойнее провинциального Маугли. Встречала в прошлом! Но привязываются же люди к домашним животным! А я умел слушать, быстро учился, был внимателен к ней, и вполне мог потеснить в ее сердце печальные воспоминания. Наконец, все свои промахи я совершал, желая понравиться.

Если женщина старше мужчины на два-три года это настораживает. Шесть-десять лет – подозрительно. Разница же в двадцать и более лет простительна, скажем Пиаф, и то с пошлой скидкой на хитрый расчет ее мужа. Или – Джулии Ламберт, литературному вымыслу. Вообразить любовь пятидесятилетней женщины и двадцатилетнего мальчишки, как гармонию духовной близости и секса? – чушь. Но ведь в некоторых африканских племенах неравный брак с возрастным приоритетом женщины – культурная традиция, экзотическая для европейского мышления. Если, – пофантазирую – поместить разнополых, здоровых сверстников в замкнутое пространство в период их полового расцвета, девять случаев из десяти закончатся предсказуемо даже при самом пуританском воображении. Да и в истории царя Эди-

па есть своя изюминка, если исключить назидательный пафос и не сильно углубляться в традиции приевфратских магов жениться на матерях.

Нас с Еленой Николаевной несло к гибельному водовороту, а золотое весло валялось на дне лодки. Возможные пересуды друзей, соседей, разнились по сути, как отражения одного предмета в кривых зеркалах и пугали Курушину. И все же моя любовь подтачивала ее благоразумие.

Настоящий мужчина не борется с любовью к женщине, он лишь не напоминает о любви, если женщина того не хочет.

Банный вечер. Легкие шажки Курушиной прошелестели из ванной в комнату.

Я перед сном рассеянно гонял вялые мысли между строк одного и того же абзаца книги. За окном грустил осенний дождь.

Плеск воды душа, постукивание баночек шампуня, геля о стеклянную подставку. Мое воображение завидовало мыльной пене, упругим струям жидкости, ласкавшим ее тело. Казалось, я знал ее наизусть, на ощупь незабываемого пьяного вечера.

Дверь в ее комнату тихонько стукнула. Я поднялся с дивана и, заломив за голову руки, отошел к окну и уперся горячим лбом в холодное стекло, вглядываясь в светлые пятна отраженных щек и подбородка, в прозрачные глазницы. Я стоял на коленях перед первой любовью, а она не замечала меня. Мордовала равнодушием.

Решительно я измерил периметр стола (для разгона!), и выскочил в прихожую. А там... струсил! Хозяйка стелила постель, и большая тень от ночника двигалась на матовом стекле двери. Я повернул восвояси. Но рука исподволь тихонько толкнула створку.

Елена Николаевна с чалмой из махрового полотенца напротив зеркала надевала через голову ночную рубашку. Оптический ли обман света, или милость времени, пощадившего от варварского зубила лет совершенство ее форм, но я залюбовался зрелой красотой женщины. И, пока она протискивалась в узкую петлю воротника, свет ночника отполировал линии ее матовой, худенькой фигуры с округлыми коленками и выступавшими щиколотками. Два небольших конусовидных полушария с острыми вершинами – от одного из них под молоко кожи струилась голубая жилка – подрагивали от торопливых усилий хозяйки. Подол занавесом упал ниже, и оставил на виду упругий, не тронутый родами живот с крошечной пещеркой, остановился у плавной ложбинки, завершавшей межбедерье темным мазком. Дыхание лет едва подсушило ее заострившиеся бедра, сочный плод ее ягод. Я впитывал глазами волшебство ее красоты, неуязвимой в моей памяти, наслаждался секундами блаженства.

Мы встретились взглядами. Елена Николаевна порывисто отвернулась, схватила со спинки стула халат и сухо произнесла:

– Выйди вон!

Она чуть наклонилась, и луч света выхватил внутреннюю линию ее бедер. Я сделал три шага и обхватил сзади ее плечи – она едва успела накинуть халат. Цветочный запах шампуня сочился сквозь влажное полотенце от ее волос.

– Ты с ума сошел! – Женщина испуганно рванулась. Но какая сила могла освободить ее из объятий безумца? Ладонь нежно нырнула за вырез сорочки, и женщина успела перехватить ее только на вершине полушарья.

– Что ты делаешь? – почти крикнула она, попыталась развернуться и оттолкнуть меня. Но вторая рука плавно обогнула ее бедро, пальцы коснулись вздрогнувшего живота. Курюшина отчаянным усилием ухватила большой палец наступавшей ладони.

– Ты с ума сошел! – испуганно шептала она, и напряженные руки тщились разомкнуть объятия. Наконец она простонала: – Прошу тебя, уйди! – подала назад голову к моему уху, спохватилась, и возобновила сопротивление: – Ну, прошу же! – Спустя бесконечные мгновения, обмякла, и со слезами в дрожащем голосе прошептала просьбу. Я отпустил ее – она понурилась, оперлась о столик, бессильная даже запахнуть халат – и вышел.

Следующий день мы не разговаривали. Если бы она выставила меня вон, я бы не роптал. Но ни слова упрека, и сама упрек! Я убежал в парк. Вернулся поздно. Елена Николаевна спала. На кухне в хрустальном башмачке-пепельнице лежал с десяток искореженных, испачканных пеплом и губной по-

мадой, сожженных до фильтра окурков.

Мне были нужны деньги: две тысячи рублей отступных за фиктивный брак – в ту эпоху годовая зарплата среднего служащего. К тому дню я стрелял сигареты у прохожих, и предпочитал пешие прогулки метро. Времени для того, чтобы заработать упорным трудом у меня не было. Я решил сыграть на игровых аппаратах. Блистательную модель подобного типа, американский покер, или упрощенно «Адмирал» я раз опробовал на море в бытность посудмойщиком. Игра с электронными механизмами, возможно, не совсем то, что ощущали герои Пушкина и Достоевского. И московское общество богатых игроков и Рулетенбург из российской столицы тех лет представлялись все тем же мифическим Эльдorado. Тем не менее, игрушки даже в вестибюле дешевого кафе, сулили нешуточные страсти. Безусловно, у нынешних завсегдатаев московских казино игорные анахронизмы тех лет вызовут снисходительную ухмылку. Я же присоединяюсь к мнению: игра не хуже какого бы ни было способа добывания денег, например, хоть торговли. Правда, выигрывает здесь из сотни один.

Основной принцип «Адмирала», как и любой игры на деньги: больше выиграть и меньше проиграть. Никакие математические расчеты здесь не действуют – только везение. Впрочем, из прежнего небогатого опыта игрока я со-

гласен вот с чем: действительно, в течение случайных шансов бывает не система, но какой-то порядок, – что, конечно, странно. Эта удивительная регулярность встречается иногда полосами, – и вот это то и сбивает с толку настоящих игроков, рассчитывающих с карандашом в руках. Я азартен и быстро теряю самообладание. Зная за собой эти нелестные качества, избегаю играть. Поэтому практически не знал игры, кроме красной и черной карты, которые нужно угадать при определенных обстоятельствах. Но теперь выбора у меня не осталось.

У местных пижонов я узнал адрес игровой точки. У Ярославского вокзала загнал за бесценок подарок матери, золотую цепочку (как раз хватило на минимальный взнос для игры), и немедленно отправился пытаться удачу. Я вынужден был жертвовать необходимым в надежде приобрести не излишнее, а еще более необходимое.

Многие прогрессивные начинания в нашем отечестве родом из подполья. Игровой пятак ютился в вестибюле кафе «Колорит». Из-под нижнего края вывески застенчиво выглядывали линялые буквы прежнего названия «Сосисочная». А может – литеры фамилии славного Чекалинского. Практически, я собирался играть для других, то есть для «кузнециков». Это сбивало меня с толку, и в игорный зал я вошел с чувством досады.

В вестибюле топтались безликие юнцы в джинсе и коже. Я их тут же разделил на две классические категории по отно-

шению к игре – одна игра джентльменская, а другая – плебейская, корыстная игра всякой сволочи. Сволочью я себя, конечно, не считал, но игра моя была, безусловно, корыстная, плебейская. Поэтому на первый взгляд мне показалась особенно некрасивой серьезность играющей публики к своему занятию. А все заведение – нравственно грязным. Хотя, повторюсь, я не вижу ничего грязного в желании выиграть поскорее и побольше. Скорее, желание изменить судьбу посредством игры представляется мне полнейшей глупостью. За резной стеклянной дверью бывшей точки общепита как на выставочном стенде красовались отделанные причудливым орнаментом деревянные стены и цветные окна, голубенькие занавески на карнизах, пирамидки салфеток на столах, стулья с высокими прямыми спинками. Все это создавало контраст унылому фасаду и прокуренному вестибюлю, где на гранитном полу налипли бурые лепешки раздавленных окурков. Никакого великолепия не было в этих дрянных заведениях. О пионерах предпринимательства времен агонии русского социализма новые былинщики еще поведают свой рассказ. Но тогда подвижники капитализма забавляли неприятия потребителя скудными фантазиями о роскоши. Хозяева кафе наивно полагали, что санитарные неудобства от соседства сомнительной публики, окупит арендная плата с игровиков, а бокал дешевого охлажденного напитка из бара, выпитый игроком, стоит денежного гурмана.

В лиловой дымке между четырьмя агрегатами прохаживался кассир, крутоплечий верзила в джинсовом костюме и с апатичной физиономией. В одной руке верзила держал деньги, в другой – пусковой ключ от автоматов. Игроки на одноногих кожаных тумбах горбились над пестрыми экранами. На их лицах была лишь тупая покорность случаю.

Я заплатил и занял очередь у крайнего аппарата. Стоять простым зрителем и даром занимать игорное место не позволялось. Здесь обречено добивал партию мальчишка в пластмассовом козырьке. Два проигравшихся приятеля неуверенным шепотом советовали ему как скорее присоединиться к ним. Азарт и волнение зашевелились во мне.

В игре с удачей разум подчиняется интуиции. Пока не ощутишь щелчка, отключившего сознание от реальности, лучше переждать. Впрочем, каждый играет по-своему. Перед началом я твердо решил не рисковать, и меньше думать. Иногда, впрочем, начинал мелькать в голове моей расчет. Я привязывался к иным комбинациям, но тут же оставлял эти свои глупости, и смотрел лишь на кнопки автомата. Звенела басовая струна общего фона...

Автомат показал на шкале сто купонов. При удачной раздаче стоимость купона удваивалась, в противном случае – наоборот.

Пять первых раздач машина лишь однажды выбросила двух королей и джокера. Мне нужно было королевское каре, но автомат имел свои виды на игру. Пять следующих комби-

наций увеличили пассив. Наконец, на отметке семьдесят выпали два валета, и автомат предложил разыграть призовую партию. Нужно по рубашке угадать подряд цвета семи карт. За это игрок получал призовые. (Величина выигрыша зависела от программы автомата). Можно перевести удвоенную сумму в актив. Либо потерять набранные очки. Впрочем, все это не интересно!

Я угадал первую карту – черная, вторую – красная. Перед третьей – пальцы повлажнели. Нажал красную кнопку и снова угадал. Четвертая карта оказалась бубновым валетом – красная. Я зацепился пальцем за табурет, откинулся назад и зажмурился. Электронный гад готовил ловушку. Что ему стоило подтасовать картинку. Тридцать два купона. Плюс семьдесят перед тем...

Казалось, тело существовало автономно от разума: рука ударила по красной кнопке, прежде чем я засомневался. Бубновая дама! Я перевел выигрыш в актив, – удача переменчива! – и услышал за спиной неодобрительное цоканье. Но тут же сосредоточился на игре. Сто тридцать четыре купона!

Теперь я переворачивал не более трех карт и копил выигрыш. Не дождавшись каре или покера, я подозвал кассира, и получил деньги за двести набранных купонов. Я заработал первую сотню рублей.

На улице я жадно затянулся сигаретой. Рубашка взмокла на спине от пота. Поймав вдохновение, я вернулся в зал к то-

му же автомату.

Через час я остался с тем, с чего начинал. Апатию сменила ярость, желание отыграться! Тут бы мне и отойти, но во мне родилось какое-то странное ощущение, вызов судьбе, желание дать ей щелчок. Я огляделся. Справа от меня монотонно стучал по клавишам парень лет тридцати. Казалось, он проглотил глазами экран, как-то по-собачьи, одной стороной рта мял жевательную резинку (если можно вообразить пса, жующего резинку), и нервно отбивал пальцами дробь. Переборов себя, я отправился прочь от своего двойника.

Было, о чем призадуматься. Если железный пират без нервов и разума прикарманит мои последние деньги, я, смилив гордыню и посрамленный, явлюсь пред кузнечиками. Явлюсь с браслетом, который они, возможно, видели у Курушиной! «Мы же предупреждали: проходимец!» Я отмахнулся от унылого миража. Выбор не велик: играй, либо уезжай из Москвы!

Спустя три четверти часа у меня было всего восемнадцать купонов. В одиннадцатом часу в зале остались настоящие игроки, которые плохо замечают, что вокруг них происходит, и ничем не интересуются, а только играют с утра до ночи, и готовы были бы играть, и всю ночь до рассвета. Моя рубашка вымокла, ладони сделались липкими. Хребет и шея налились свинцом. За двенадцать очков до банкротства ненавистная холодная болванка вдруг заинтересовалась одушевленным механизмом, упорствовавшим над ней. Пальцы и глаза

подстать автомату подчинялись рефлексам, опережая коварную программу.

Я легко угадал три карты: последовательное чередование германовских цветов. Переводить очки в актив не имело смысла. На шестой карте меня затрясла нервная дрожь. Я поднялся, и рассеянно оглядел человек пять за спиной. Они посторонились. Но я задержался в кругу их любопытства, и, не задумываясь, повторил зебру цветов – черное. Контур пикового короля задрожал в парадном строе угаданных карт. Запоздалый страх заструился холодными змейками влаги по вискам. Только раз во весь этот вечер, во всю игру страх прошел по мне холодом и отозвался дрожью в руках. Я с ужасом ощутил и мгновенно осознал: что для меня теперь значит проиграть! Стояла на ставке вся моя жизнь. Я присел. Поискал сигареты. Слуховые и зрительные рецепторы сверяли шесть картинок и сдержанный шепоток зрителей. Кто-то услужливо протянул мне пачку.

Закрыв глаза, опустошенный, я вечность напрягал и расслаблял окостеневшие мышцы рук. Игрок соседнего аппарата присоединился к зрителям. «Черный, красный!» – шелетели голоса. Кто-то шепнул, что позавчера на этом аппарате чередование цветов вышло двадцать два раза сряду – обстоятельство, впрочем, довольно часто встречающееся в игре. Я разомкнул веки и уставился на дрожавшую в ритм моего сердца рубашку карты. Математическая череда цветов в наборе карточной судьбы.

Мне привиделся поощрительный лик программиста, заложившего в свое детище один шанс из миллионов. Я потянулся к красной кнопке, как к спусковому крючку револьвера, направленного мне в висок, и седьмая карта увенчала парад!

Казалось, выиграл не я, а люди за спиной. Хор голосов взорвался, словно в ворота влетел решающий мяч. Меня одобрительно похлопывали по плечам, а я умиленно взирал на детище человеческого гения, в миг наградившего мое напряжение. Ей Богу, если бы не неизменный повод для радости, я бы чувствовал себя триумфатором. Я уже смотрел, как победитель, я уже ничего не боялся. С достоинством олимпийщика, под одобрительные фанфары голосов я подозвал недовольного кассира, получил выигрыш и удалился, запихнув пачку червонцев и четвертаков в нагрудный карман куртки.

Елена Николаевна открыла дверь.

– Ты болен? – Она с тревогой пригляделась: не пьян ли я. Мне даже не хватало сил врать. На кухне я сонно поковырял жареную картошку в сковородке, и скорее убрался к себе. Не раскладывая постели, рухнул ниц и потерялся в свинцовом забытьи.

На следующий вечер за тем же аппаратом (тяга к фетишам удачи) за сорок минут я спустил двести рублей, рассчитанных на этот день.

Холодный враг, циклоп из железа и стекла, пялился своим

голубым оком на меня. А я смотрел на автомат с такой же ненавистью, с какой сутки назад любовно ласкал взглядом каждый шуруп на его корпусе.

Лишь на четвертый день, когда у меня осталось бесполезных пятьсот рублей, железная скотина примирительно подмигнула, словно говоря: «Ладно, сыграем, как ты любишь – по-честному!»

Накануне я едва узнал в зеркале над умывальником безобразного двойника: впалые глазницы и малокровное лицо с нервным порезом от бритвы на подбородке, искусанные губы. Исступление в глазах было так же отвратительно, как горьковатый привкус во рту от потери аппетита. Елена Николаевна перестала выпытывать причины нездоровья упорно молчавшего грубияна.

Я применил излюбленную тактику мелких шажков. Старался забыть неудачи и обмануть туповатый автомат. Переходил от одного к другому по кругу, прежде чем аппарат успевал надуть меня. Работал пальцами, будто профессиональный пианист. Рефлексы уничтожили эмоции. За два часа я заработал четыреста рублей. И, запутывая судьбу, теперь менял автоматы крест на крест. Когда железные твари замечали подвох, и, жужжа от нетерпения, готовили расправу, я забирал выигрыш и переходил к другой машине. Спустя еще два часа я положил в карман шестнадцатую сотню.

Перед последней игрой я пересел к старому приятелю у двери. Казалось, мои нервы гудели от напряжения, как вы-

соковольтный кабель. Еще партия, и я бы свихнулся, или навсегда стал рабом азарта (что равнозначно). В случае неудачи, я решил прокутить остаток денег, и бросится с Кузнецкого моста.

Автомат узнал меня: мне показалось, он приветливо подмигнул. Я трижды тихонько сплюнул через левое плечо. Минут десять машина размышляла, как со мной поступить, и оказалась смышленной тварью: угадала прощальный бенефис любителя.

С сотни я удвоил капитал. Автомат предложил призовую игру.

Баловень судьбы мог нажимать любые кнопки. Машина поощрительно отмалчивалась, после каждого удачного хода, словно педагог на экзамене, наслаждался ответом любимчика. Мы издевались над зрителями, не ведавшими о сговоре. Играли на их нервах, как на флейте. Слушок о везучем парне пробежал меж игроков. Посмотреть действительно стоило!

За пять секунд я четыре раза нажал красную кнопку, и закончил аккорд мизинцем – на черной. Автомат благодушно подмигнул, потешаясь со мной испуганному и изумленному ропоту зевак. Шестая карта оказалась красной. Я из пижонства встал размяться. Помню отчетливо: мне вдруг захотелось удивить зрителей. И тут настроение машины переменялось. Она не узнала меня в толпе и рассердилась. Я похолодел: везение закончилось, меня ждало сокрушительное поражение.

В погоне за цветовой гармонией эстет во мне потянулся к черному. Но на моей стороне в игру вступили высшие силы. Дитя комсомольского невежества, после этого случая я заподозрил нечто о звездном небе надо мной и моральном законе во мне. Какой-то любитель зрелищ, протискиваясь к действию, неосторожно пихнул наблюдателя из первого ряда. Тот повалился на меня. Я не удержался и руками упал на кнопки. За спиной охнули и матюгнулись. Я даже не успел испугаться, как если бы меня прихлопнула бетонная плита. Под туш автомата в ряд легла победная карта.

Четыре дня назад я мечтал о триумфе. А теперь на улице равнодушно ковырял носком туфли первые опавшие листья и тупо вспоминал случившееся. Сейчас, когда город будил сознание шумами неведомого происхождения, стуками трамвайных колес, голубиным воркованием я осознал безрассудство своего поступка, и испугался. Мне повезло! Многие свершения моей юности ныне кажутся мне непоследовательными и глупыми. Но этот пустяк перевернул мою жизнь, стал логическим завершением предначертанного. Как не смешно звучит: я совершил мужской поступок. По эмоциональному накалу он, может быть, не уступал спазмам совести Ганички Иволгина перед пылавшим в камине свертком ассигнаций за любовь Настасьи Филипповны. Я не взял даровые деньги любимой, подчеркиваю, любимой женщины!

Впрочем, это я думал потом. Дорогой домой мыслей

не было. Ощущал я только какое-то наслаждение: удачи, победы, могущества. Мелькал предо мной и образ Лены.

Я точно не пересчитывал. Но у меня было около трех тысяч рублей.

У метро я купил пять роз: любимые цветы Елены Николаевны.

Она сидела на моем диване, скрестив на груди руки, и смотрела информационно-познавательную телепрограмму, тогда еще без названия, с четырьмя молодыми ведущими, имевшими свой взгляд на различные вещи.

– Как мило! Спасибо! – Курушина поцеловала меня в щеку и отправилась за вазой. – У тебя вид, будто ты выиграл миллион. Но выглядишь ты ужасно...

От усталости я словно растекся по дивану.

– Пойдем, я покормлю тебя! – пригласила Елена Николаевна.

Деньги жгли мне карман. Нетерпение – грудь. Но я скучно спросил:

– Эти звонили?

– А? Да, да. Вчера Алексей Владимирович спрашивал, не передумал ли ты? Я уж не беспокоила тебя, дружок. Больно суров ты был.

Мы улыбнулись.

– Значит, завтра надо отдать деньги, – проговорил я в чашку, ликуя.

– Почему деньги?

– Не отдавать же драгоценности. Обойдутся. Они вам самой пригодятся.

– Неудобно деньги то! – неуверенно проговорила женщина. – Признаться, у меня таких нет. Все равно придется что-нибудь продать. Так уж лучше...

Я отодвинул чашку, и, умиряя мальчишеское нетерпение, выложил на холодильник рядом с розами пачку червонцев и четвертаков вперемежку.

– Где ты взял деньги? – Елена Николаевна насторожилась.

– Выиграл.

В общих чертах я изложил ей свою эпопею. Она внимательно слушала, курила, и пепел сыпался на ее халат. Потом долго молчала.

– Ты продал цепочку? – спросила она.

– М-м-угу... – Внутри у меня заныло. Я испугался какого-нибудь пошлого назидания.

Елена Николаевна мяла в пепельнице окурочек. Минуту мы смотрели друг на друга. Минуту, за которую я отдал бы жизнь. Женщина подошла и прижала мою голову к своей груди.

– Глупый, милый мальчик! – прошептала она, уткнувшись губами мне в макушку. Я обхватил бедра Елены Николаевны, и зажмурился в складках ее одежды, едва сдерживая слезы восторга.

До сих пор, анализируя поступки Елены Николаевны, я приписывал ей свои мысли, мотивы поведения, точку зрения. Как выяснилось, весьма приблизительные и часто ошибочные. Перебирая книги в библиотеке Курушиной, я наткнулся на ее дневник. И очень удивился. Сокровенный монолог на бумаге тогда казался мне вздором, простительным молодости, и – странным для зрелого человека. Чтение записей женщины без разрешения, конечно, безнравственно. Но теперь это не имеет значения, и никого не скомпрометирует. Вот выбранные местами дневника. Переписывая его, я почти ничем не поступился ради красот стиля, если не считать примитивных требований связанности изложения. Дневник многое проясняет в этой истории. Тут есть любопытные приметы подзабытой эпохи. Зачастую наши поступки объясняет время, в которое мы живем.

«5 июня. Вторник.

Аркадий, таки настоял на своем! Он знает: я не терплю постояльцев. Не помыться толком (хотя бы то, что я брезгую после чужого в ванной), ничего не сделать по дому! Забавляй, обслуживай! Благо еще б человек интересный! Что поделаешь. У Аркадия «обстоятельства». Потерплю недельку.

Сегодня в продуктовом, как теперь говорят, давали цыплят! Действительно, по одному цыпленку на человека

за твои же деньги можно только давать. Надо кормить гостя. Час простояла в очереди, и не хватило. Пришлось тащиться на проспект. Никак не привыкну к этим походам за пищей.

6 июня. Среда.

Отец любил именно эти строки у Пушкина и всегда забавлял нас ими: в блистательном разврате света, хранимый богом человек, и член верховного совета, провел бы я смиренно век... А еще цитировал из письма Вяземскому: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство».

Боже, как давно это было! В другой жизни! И не найти следов...

Впрочем, вот это гренадер! Когда он закрыл собой дверной проем, я растерялась. Куда же его укладывать? Подлокотник дивана, что ли снять?

Забавный мальчик. Фуражка на затылке, кольчуга из значков. Сердитый, словно его силком втащили в дом. Артур. Королевское имя. Раскатистое, как артиллерийский салют. Улыбка быстрая, располагающая, а глаза настороженные, серые. Лесной волчонок. Очевидно, нравится девушкам, и знает об этом.

Как же он сказал? А! Спрашиваю: «Что любишь есть?» А он: «Не люблю ничего, но ем все». За завтраком пригубили по рюмочке, и он скаламбурил: «За здоровье тех, кто здравствует!» А потом нахамил (был раздражен и резок с дядей): «Вы, как Ирина Родионовна, каждый день, или по поводу?»

«Ты ищешь себе няню?» Он покраснел и буркнул извинение.

Аркадий завел о политике. Откуда у них любопытство к жизни «могущих»? Прав Пушкин: толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. Не люблю эту тему, комментарии Шариковых. Зайцы на могиле льва.

Аркадий подталкивал меня к воспоминаниям. Хотел порисоваться перед племянником: мол, с кем пьем! Глупо.

Не ладят. Оба самолюбивы. Ну, у Аркаши это безвредное родимое пятно. А у племянника характер тяжеловат. Молчун. Проводил дядю к двери. Пробурчал: «Осел был самых честных правил!» Поблагодарил за ужин и отправился спать.

Ну, вот! Человек едва в дом, а ты уже ярлык вешаешь.

Надо с утра к Петрикееву за кофе забежать, пока на дачу не укатил. Опять пропадет на неделю. В министерство Алеше звонить неудобно. Натянутые отношения. А Елисеев на пенсии.

7 июня. Четверг.

Ого! У мальчика гонор. Спросила: «Что стряслось?» Проскрипел: «Да так!» И ушел на балкон курить. Мол, не до вас. Кажется, что-то не поделил с Аркадием. Тот вечером позвонил, спросил у меня ли мальчик? – и, ничего не объясняя, бросил трубку.

8 июня. Пятница.

Вспомнила Игоря двадцать лет назад. Папу. Он так и не простил нам смерти ребенка. Я – молодая, глупая дрянь.

Игорь – самовлюбленный эгоист. Смешно и дико перечеркнуть жизнь ради веселого лета на море. «К июню ты же с животом будешь!» Так и сказал, «с животом». А какое растерянное и брезгливое лицо, когда я сказала о ребенке! Что его винить? Сама согласилась. Кокуркины, Реверы! Майер ухаживал. Где вы все? Казалось, впереди вечность, успеем.

Все утро рассматривала мальчика. Лицо открытое. Собран. Чем-то напоминает Редфорда. Про такой подбородок говорят: волевой. Ну, вот, по привычке обожаюсь симпатичного мне человека. А почему нет? Утром, пока он спал, тихонько вошла в его комнату за фужером, делать формы для пельменей. Смешно. Спит по диагонали дивана. Одежда короткая. Ноги свисают. Мозолистые пятки. Мозоли, наверное, от сапог. Голова под подушкой, рот открыт, и шевелит во сне губами. Вечером стирал. Носки сохнут под стулом, на перекладине, рубашка – на спинке. Стесняется в чужой квартире. Перевесила все на балкон. А поверх формы «Юность» с «Ченкиным» Войновича. Тут же том Пушкина. Закладка на стихотворении из письма Вигелю. Узнала за завтраком, регулярно читает, или по случаю? Он как-то странно посмотрел на меня и ухмыльнулся. Спросил: хорошо ли я знаю Наташу, жену Аркадия? Я пожала плечами: мол, ничего определенного о ней не скажу. А он: «После консультации у тети, ничего, кроме Даниила Андреева не читаю!» Очевидно, вчера что-то задело его самолюбие. О людях говорит желчно. Но ко мне, слава Богу, по крайней мере, без-

различен.

Мы почти не разговариваем. Интересно за ним наблюдать. Вчера по телевизору выступал этот новый, реформатор: не запоминаю их. Мальчик вышел из комнаты. Политика и новизна его не интересуют. Спросила: почему? Ответил: что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем. Удивилась: читал Екклесиаста? А кто это? Пояснил: бабушка любила повторять! Толком не понимаю, что его интересует.

Вдруг поймала себя на желании погладить его по голове. Представляю, как это дико выглядело бы.

Вчера у Вики застала Дыбова. Дыбов – Дымов. Пригласили на дачу. Я согласилась. С тем, чтобы Саша отвез меня вечером назад. У меня гость! Лора хорошо выглядит. Обычно говорят: помолодела. Если в нашем возрасте это возможно. Саша приготовил, как водится, отличный шашлыки. Немного выпили. Посидели как когда-то... Рома, их младший, оказывается в Швейцарии на стажировке. Молодец. Правда, не ясно, кто больший молодец, Саша или сын?

Господи, как же давно все было! С ними всегда просто и хорошо. Лора делала вид, что не обращает внимания на Сашины ухаживания за мной. Теперь-то смешно ревновать. Только у них не чувствую жалости к себе, нелепой, натянутой, будто ничего не изменилось.

В машине разговорились. Он все еще любит меня. Или это уже привычка? Саша прав: если б не Игорь, многое сло-

жилось иначе. Детей он любит. Каждого из троих по-своему, и всех вместе одинаково. Тро-их. Их тро-е. Ладно, не буду себя накручивать.

Саша сказал: вероятно, его скоро на пенсию. Ну, до пенсии ему далековато. Говорит, многие со своих мест полетели. Действительно. Что в стране делается! Оказывается он знал второго секретаря в Нижнем. Вчера во «Времени» среди прочих его упомянули. А он еще с папой работал. Ничего у них не меняется! Ничего!

9 июня. Суббота.

Последние дни пишу только о госте. Его появление у меня – событие.

В полдень звонил Аркадий. Пригласил мальчика к телефону. Протягиваю трубку. Тот отрезал: «Меня нет!» Нелепая ситуация.

Аркадий говорил резко. «Мальчишка утратил чувство реальности», «амбиции ставит выше здравого смысла». Еще многое наговорил сгоряча. Но в чем вина племянника, так и не сказал. Значит, виноваты минимум оба.

Вечером играли в шахматы. Из-за дождя рано стемнело. Наверное, погода повлияла на настроение мальчика. Захотел выговориться. Сначала, извинился за вчерашнюю колкость на мой вопрос о чтении. Надо же, запомнил! Сказал, что «всеяден». В детстве читал индейские романы. Далее Лондон, Хемингуэй, Экзюпери и остальное, что выпускало отечественное книгоиздание от «их», до «Петушков». О Плато-

нове, Набокове не слышал. К страстям по Христу Булгакова и Айтматова равнодушен. Солженицына и Бродского назвал «врагами» и засмеялся. Довлатова, Зиновьева, Соколова, Максимова, Аксенова, всех, от кого сейчас стонет «чтывый» люд, смел в одну корзину. Говорит: коль через десять лет их издадут, прочтет! Может так и надо? На Чейза, Флеминга, Бенчли зевнул. Предложила ему кое-что из библиотеки отца. Слава богу, она не распалась, и ничего не ушло на папиросную завертку.

Вдруг рассказал о ссоре с дядей. О себе – язвительно. Родственникам тоже досталось. «Когда не думают, то говорят, что думают!» Я рассмеялась. Теперь понятна его фраза о консультации у тети. Представила Аркашу, когда тот умничает. Позер. Наталья, пожалуй, нудновата и не умна. Про девочек ничего не скажу. Видела их, когда им было десять-двенадцать лет.

Проницателен. Мне всегда казалось: в двадцать они самолюбленны до близорукости. А очки – с розовыми стеклами. Ну, это уже стариковское, дорогуша!

Аркадий обязан был помочь мальчику. Во всяком случае, не так трусливо от него шарахаться. А если бы я оказалась на месте Аркадия? То-то! Холодок, опаска, жуть сразу остудили добрые позывы. Мальчик ни без иронии это заметил. Он очень чувствителен к фальши, и с ним нужно быть осторожной. Резонерство его раздражает, он сразу замыкается.

Я слушала его исповедь и старалась понять, откуда в нем

столько злости? Нет, не злости. Настороженности к людям.

«...отец ушел от нас, когда мне исполнилось шесть, и я впервые поднял с пацанами брошенный прохожим окурок...»

«...любовь к учебе отшибли в школе. Считали трудным. Раз в неделю напоминали об этом матери. Школьная история и литература – жеванная пережеванная тягомотина! Толстой или Достоевский в зрелом возрасте пропустили через себя страдания, на надрыве рассказали о нем». Так и сказал, на надрыве! «А нам в шестнадцать лет вмяли в мозги то, что иным до смерти не понять. Этот герой положительный, этот – отрицательный. Я „Преступление и наказание“ лишь в армии прочел. Только там Раскольников почувствовал. Как после такого зубрить, чтобы не было мучительно больно, да, толстый пингвин, что-то прячет?»

«...сторожиха не гнала меня со школьной вишни, как всех пацанов. Жалела. Мать просила ее присмотреть за мной в группе продленного дня. На вишне я был не опасен для оконных стекол и одноклассников...»

«...приводов в милицию не имел, пил только с теми, кто не выносил этого дела втихоря, в общественном туалете и „из горла“. Но участковый с похмелья, бывало, притормозит на мотоцикле и спросит: почему прогуливаю школу, и кто гробанул газетный киоск за углом?»

«...из армии уволился старшиной. По-моему, это единственное место, где приручают тупость и обуздывают ум.

В тюрьме не был. Не знаю. Говорят, похоже. Отцы-командиры не настаивали на том, чтобы я остался на свехсрочку куском (прапорщиком). Никто не любит подчиняться. Но у иных на это аллергия. При злоупотреблении – с летальным исходом...»

«...дерусь с детства. Просто так и за дело. У нас в городе так принято. Пока не женишься. Никого не защищал. Слабых нет, есть трусы! Другим, конечно, помогал!» Он показал мозоли на костяшках. Жутко.

«Теперь я возвращаюсь в свое болотце. Сырое и теплое. Женюсь, а потом сопьюсь. Положено. Все лучше, чем, как дядя москвич в мягких тапочках в тиши и плесени...»

«А как же мать? Она же ждет!»

«Что мать? Мать – это мать. Увижу ее, куда денусь. Устроюсь, заберу ее оттуда! Всю жизнь она мучилась воспоминаниями об отце. Нашла смысл жизни во мне и в своем горе! – Подумал и добавил. – Не поедет. Ее жизнь там!»

Зря он о себе так. Душа у него чистая. Хотя наносного много. Мне нравится его слушать. Рассказала чуть-чуть о себе. Мы похожи: не любим себя в своей жизни. Чем же ему помочь?

Мне близко и понятно все, что он говорит. Кажется, не ему двадцать, а мне. И наоборот, ему не двадцать, а сорок восемь. Возможно, я хуже знаю жизнь. Говоря шаблонами, не видела ее изнанки. Но в ней ведь не только зло!

Хорошо, что не стала потчевать его, как он выражается,

«добренскими» сказками. Он бы не поверил.

Голова раскалывается и сердце ноет. Меньше кури и чаще гуляй. Завтра предложу ему пройтись в нашем парке. Одной страшновато.

10 июня. Воскресенье.

Вот и все. Мальчик уехал. Собрался вдруг, и уехал! Мыслей нет. Писать не о чем. Пусто. Боюсь разревется. Я, кажется, привязалась к нему. Всего-то за неделю! Какие у него были глаза!

15 июня. Пятница.

Заезжал Дыбов. Пригласил на дачу. Отказалась. Попили чай, помолчали. Мне впервые стало скучно с Сашей. Какие мы все-таки старые. И привычки у нас старые. И объяснения в любви старые. Смешной он, Сашка! На что-то рассчитывает. Я сказала ему: «Мне уже сорок восемь». А он: «Ты заживо хоронишь себя!» Ответила: «Ты бы желал, как мальчишка, целоваться в подворотнях, играть в любовь?» «Кто же играет в любовь?» Он не обиделся. Привык уже. И я тоже.

А почему старые-то? Вспомнила два года назад поездку на юг. Какой-то парень лет тридцати увивался. На «ты» перешел на другой день, и удивился, когда Сашу и Лору в шезлонгах я назвала друзьями. «Я думал, твои родители! Что общего у тебя с этими стариками?» Заглянул бы он в мой паспорт. Саша тогда дико ревновал. Как же он сказал: «Нет хуже, когда любимая женщина говорит – втяни живот! – а ты уже это сделал!»

От Артура ничего нет.

18 июня. Понедельник.

Новость. Наш Молчалин дослужился таки до генерала. Саша сказал: Елисеева назначили замминистра. Тридцать лет назад (тридцать лет!) никто из наших не заблуждался на счет его лакейских способностей. Безнадежно глуп, но исполнительен. Комсорг факультета. Вспомнила эпизод в машине. Давным-давно. Ездили с папой поздравлять Иван Алексеевича, экспромтом, на дачу. Его избрали куда-то, или он защитился? Не вспомню. Молчалин уже с папой работал. Они потом собирались к самому. Запомнился косой пробор Елисеева и готовность слушать. Впитывал с таким усердием и умным видом, словно наизусть запоминал каждое слово. Реплики вставлял, хотел казаться своим. Это Саша или Игорь прозвали его Молчалиным. Потом его несколько раз видела у американцев на День Независимости, и при дворе на октябрьских пьянках. Однажды Игорь там так намешал швепса и коньяка, что Саша и Коля несли его к машине. Коля в отпуск с Натой приезжал. Папа на следующий день разругался со свекром из-за Игоря и праздновал у Костиных на даче.

Елисеев ухлестывал за мной на первом и втором курсе с наметкой на будущее. Через год после смерти папы он меня не узнавал. Думаю, он нас всех ненавидел. Его мать медсестрой работала, а он поступал с золотой медалью. В общем-то, карьера у него получилась. Если бы поменьше до-

пускали к власти нищих, может все побогаче стали бы. Теперь они травят тех, кто умел управлять, если не страной, то толпой. А сами пустячной мысли выдумать не могут. Снова лозунги, демагогия! Разоружение! – страна без армии. Перестройка! – удельные князьки рвут страну. Демократия! – воровство и междоусобицы. Дети Хама. При чем здесь система? Система всегда одна: жажда власти и достатка. Как это у Валошина о буржуазии и пролетариях: личные и причем материальные счета хотят раздуть в мировое событие, будучи друг на друга вполне похожи как жадностью к материальным благам и комфорту, так и своим невежеством, косностью и отсутствием идеи личной свободы. Ничего за семьдесят лет не изменилось. Новые всегда прямые потомки старых! Сами же на поклон к отцу ходили, лебезили. Половину из них мальчишками помню. Крикнули бы честно: в генералы тоже хотим! Молчалины к власти уж никого не пустят. Выберут мессию, и молитесь на него. Дай-то бог ошибиться. Саша так же думает, и не в себе от нового назначения. Наше время уходит.

Сегодня мальчишки у подъезда забили камнями кошку. Она спасалась в подвал: след крови по асфальту и вниз по ступенькам. Подвал оказался закрыт. Откуда в них эта жестокость? С кровью родителей? Кажется, у Достоевского Раскольников наблюдает, как пьяный мужик забивает клячу. Через шестьдесят лет – тоже у Леонова. Если в сознании так называемого народа ничего не меняется, что же изменится

в их жизни?

А вот физиологическое наблюдение, достойное Золя. Пьяный хам мочился во дворе возле телефонной будки. На подошвы его туфель текло. В песочнице напротив играли дети. На скамейке разговаривали две кумушки. Молодой очкарик читал газету. Им все равно. Были б силы, швырнула бы скота расстегнутой ширинкой о стену.

А ты сетуешь на злость Артура! Раньше ты не хотела видеть, что они мочатся на людях и убивают кошек. А он видел. Может, сам убивал. Тьфу на тебя! Не верю. Разошлась. У него глаза человека, который будет мучаться и сомневаться всю жизнь. К тому же те, кто не любят людей, любят животных.

22 июня. Пятница.

Праздник! Принесли письмо от Артура. Милый мальчик. Два раза перечитала в подъезде. Потом дома, после обеда – еще дважды.

Какое это счастье заглянуть в дырочки почтового ящика, а там за газетами белеет краешек конверта. Хочется смаковать эту нечаянную радость. Сразу угадала: от него. Письмо от моего милого мальчишки!

Пишет: на море «сгорел до костей» (он всегда придумывает забавные метафоры, а «на дискотеке (посудомойке) стер руки до локтей». На девчонок уже не может смотреть. «Весь мед не съешь, больно банка велика, и жало выдохлось...» Бесстыдник. Хочет вернуться в Москву. Точно не решил.

Не знает, с чего здесь начать. Дома – тоска.

Много всего. Словно с ним в Сергеевке побывала. Где это? Впервые слышу.

С утра столько хороших примет! Чувствовала: что-то произойдет. Сначала позвонила Лора, напомнила, что вечером они с Сашей заедут за мной. Сегодня у Любочки День рождения: восемнадцать лет. Соберутся все наши. Приготовила подарок. Сережки из коллекции. Сейчас мне такие не по карману. А затем Степан Тимофеевич угостил клубникой со своего огорода. Картошки принес. Очень кстати. У меня кончилась. К полудню распогодилось. А всю неделю шли дожди...

Милый, милый мальчик, не забыл! Пишет, не скучайте! Как же не скучать! Странно и ново. Ведь действительно – праздник. Что бы ни делала, хочется петь и кружиться, и дома тесно. А потом вдруг грустно: увидеть бы мальчишку. И снова письмо перечитываешь. Как я понимаю Душечку.

Соврал бы, что скучает. Но это уже про Золотую Рыбку, Старуху и разбитое корыто.

Звонок. Так нахально трезвонит только Сашка.

24 июня. Воскресенье.

Любочка вежливо поблагодарила. Нашла, что дарить девочке! Я даже не знаю, что они сейчас носят. Саша тоже отговаривал дарить. Дорого, говорит. Старая, упрямая дура!

Было много молодежи. Гвалт и столпотворение, обязательные у Дыбовых. А хотелось плакать. Думала об Артуре.

И ведь в нем нет ничего от этих ребят, воспитанных, вежливых, благополучных и чужих. Он мой!

Танцевали. Меня даже приглашали двое мальчиков. Отказалась. Топталась бы неповоротливая корова в пестром цветнике. Классическая сцена: молодежь танцует на лужайке под усилители, старики потягивают алкоголь за столом в беседке, смотрят на детей. Снисходительно улыбаются: мол, помнишь, как мы? Подпили и вспомнили. Саша в кругу «твист» крутил. Когда-то у него здорово получалось. У Лимонова лопнули подтяжки. Под общих хохот из брюк «полезло» пузо. Вика напилась, и упала на газон. Ее отнесли в дом и уложили спать. Как всегда она лезла со всеми целоваться. Годы ее не меняют. А Леша уже не обращает внимания. Саша возле меня мотыльком порхал.

Я была совершенно одна.

Перечитаю письмо и лягу спать.

25 июля. Четверг.

Господи, наконец-то! Как же долго он не писал! Разве так можно?! Но вот письмо на столе передо мной. На отдыхе время летит незаметно. Что для меня вечность, для него – беспечный день. Все равно обидно!

Письмо суховато. На море надоело. Твердо решил вернуться в Москву. Остановится не у Аркадия, а у меня. Заезд в пансионате заканчивается в конце июля. Значит, в начале августа я его увижу. Смотри, не напугай мальчика радостью. Решит: спятила. Ну, хоть пригодилась ему.

Вот еще что. Идея, не ахти, какая. Но, почему бы, не поговорить о мальчике с Бочкаревыми. Алексей трусоват, но должен помнить добро. Могли запросто в тюрьму упрятать за их глупое политиканство. А он даже аспирантуру закончил благодаря папе. Его пацифистский чехословацкий бред был не от убеждений. Зажрался мальчик. Листовочками решил армию остановить. Люди с именами молчали. А он наболтал и ребят подставил. Хорошо, хоть дальше болтовни не пошло. Мало ли кто, что на кухне говорит. Потом у нас плакал. До сих пор ему неудобно передо мной, не за то, что папа в партком звонил, а за слезы при мне.

Не хорошо. На шантаж похоже. Алексей так и поймет. Что ж, я не ангел. Теперь мне нужна помощь. Но, прежде чем делать, хорошенько подумай. Мальчик – «темная лошадка». Мил, обаятелен, раним. Но разве я для него исключение из тех, кого он ненавидит, либо, к кому равнодушен. Это возраст желаний, необдуманных поступков и ошибок. Чтобы «выбиться в люди», сносно существовать, хватают за горло. Он видит (или увидит) во мне ступеньку к своему крошечному пьедесталу. В его рассуждениях природная честность, прямота и холодность подонков, коих он повидал. Вот что страшно. Но свое благополучие к себе в гроб не положишь. Мир не так плох. Помоги мальчику поверить в это.

Коля Кузнецов написал Романовым, что выходит в отставку. Вика утверждает: они с Натой в Москву переедут. Коля, как генерал-лейтенант имеет право. Значит, соберемся вме-

сте!

30 июля. Вторник.

Телеграмма. Приезжает завтра! Записывать некогда. Надо готовиться и готовить...

1 августа. Четверг.

Гражданская одежда ему идет. Загорел, ежик волос выгорел на солнце. Та же быстрая, приветливая улыбка и настороженные глаза. А за ними заповедник мыслей, добрых и плохих. Добрых: он все же рад меня видеть, хотя для него мой дом – приют в чужом и страшном городе; вежлив, но менее предупредителен – значит, привык. Плохих: скрытен, равнодушно выслушал о девочке Бочкаревых, но зачем-то стал «горячо» благодарить. Его выдают глаза. Как безотказный индикатор «плохо – хорошо».

Вошел буднично, словно выскакивал за сигаретами. Поцеловал в щеку и умчался в овощной ларек. «На углу, у дома помидоры продают...»

В этой будничности прелесть. Как кровное родство.

Я счастлива. Спокойно и хорошо. Он спит в соседней комнате, и, если я захочу, то подойду к двери и послушаю его дыхание.

Как у Антон Палыча? За что она его любит? А кто его знает, за что! Очень жизненный рассказ.

3 августа. Суббота.

Старая, развратная, бессовестная дрянь.

Долго думала, записывать или нет. Ничего непоправимого

не произошло. И моей большой вины нет. Если бы я не знала настоящих своих мыслей. Душа губкой впитывает мальчишку, и растворяется в нем, как в океане.

Мне фольга для рыбы понадобилась. Я тихонько открыла двери и сразу увидела: он раздет. Обманула себя: мол, проскочу к ящику и назад. А на полдороги решила вернуться. Шум отодвигаемой крышки разбудил бы его, и – конфуз. Отправилась в комнату, зная, до фольги не дойдешь? Ведь, верно?

Что поделаешь? Придумала обожаемое существо. А он даже не представляет, что кто-то кроме матери теперь дышит только им. Он давно взрослый. Но я вижу в нем ребенка. Моего большого ребенка. Хотя не имею на него прав. Особо не убивайся. Он для тебя просто мальчик.

И все же со мной что-то не так. Когда он рядом, хочу обнять, повиснуть на плечах, провести ладонью по его подбородку, прямому носу, вискам и выгоревшим бровям. А когда он шутит и смеется, кажется таким милым, я едва сдерживаюсь, чтобы не поцеловать его в обветренные губы. Знаю: скоро я привыкну к нему, и это пройдет. Но, если бы я не боялась показаться себе смешной, вздорной старухой, и была бы его ровесницей...

Пошлая, гламурная интрижка «квартирант – хозяйка»!

А перед глазами мой разметавшийся во сне мальчик. Пусть видение живет лишь в моем воображении. Бумаге не обязательно знать все.

Да. Застала Алексея дома. Ждал меня. Мялся, много курил, переспрашивал, кем мне приходится Артур. Сказала правду: племянник хороших друзей. На него это не произвело впечатление. Испугался. Осторожно высказал опасение: порядочный ли человек? Алексей, конечно, рискует! В моем предложении много уязвимых мест. Что как исхитриться и станет претендовать на метры? Опять же, девочка испортит паспорт. А что я могла ответить? «Он золотой мальчик, Алеша?» Но, коль назвалась груздем, полезай в кузовок.

Алеша согласился. Думаю, не единожды перезвонит. Будет переубеждать. О вознаграждении выслушал бодренько, оживился.

8 августа. Четверг.

О нашей эпохе будут судить по тому, что мы читали! И это ужасно! Белые одежды, золотая тучка, Чонкин, котлованы и Маргариты! Все это прекрасно, но в пику тем или этим политизировано. Сплошная чернышевщина, и два извечных русских вопроса. Конца края этому нет. Из литературы у нас делают, либо передовицу, либо фельетон. Когда, наконец, переболеют, примутся за литературные анекдоты, за развенчание мифов. Так было всегда: чтобы создать нового бога, надо убить старого. Ну, это тебя на трюизмы потянуло. Есть еще один путь. Но из-за невежества, как говорится, масс и нынешних властителей дум, объединенных во всякие там союзы, из-за выборочной образованности, то бишь, всего понемногу, – тупиковый.

К слову, перечитала «Архипелаг». Раньше: страшно. Теперь: грустно. Есть замечательные места. Этот писатель войдет в историю как летописец, художественный публицист. А может не войдет! Люди не помнят горе долго. Кто сейчас оплачет строителей пирамид или казнь стрелецких полков при Петре? Подавляет объем информации, словно он решил собственноручно переписать весь архив, остаться единственным в своем жанре. Возможно, это необходимо историку, или публицисту. Точно уж не помню, кто из советских (может Леонов) писал, что тему надо освоить так, чтобы и через двадцать лет, после вас там нечего было делать. У Толстого по этому поводу, кажется: через слово человек общается мыслью, через образы искусства он общается чувством. А какие образы там, где бесконечные цифры, документы и опрос свидетелей! Пристрастен (учитывая его биографию – бесспорно) и претендует на знание абсолютной истины. Самоуверенность – великая вещь. Но она убивает творчество. В конце концов, не все ли равно «туфта» или «тухта». В России столько значений одного слова. Пусть будет «тухта», если это принципиально. Если это клеймо прошедших ужас, а не абсолютизация себя даже среди тех несчастных, которые говорят «туфта». По агрессивности он не уступает незримым оппонентам. Лимонов, кажется, заметил, что Сахаровых и Солженицыных нельзя допускать к власти. Обиженных, перестрадавших и нищих нельзя допускать к власти. Затирают! Не дают петь, или писать, или

играть. Не люблю их. Пишите, пойте, играйте. Но ведь им хочется восхищения и почитания. И немножко на хлеб с маслом. Они совершают подвиг, полжизни потратив на препирательства. (Кто спорит – подвиг!) И, следовательно, подвиг должен совершить каждый. Но ведь это не так! Герои Гончарова или Вампилова интереснее героя Николая Островского. Во всяком случае, они – навсегда...

Артур, кажется, встречается с девушкой. От него пахнет духами и алкоголем (!) Сегодня опять вернулся поздно.

14 августа. Среда.

Показалось или нет? В поведении мальчика произошла перемена. Стал мягок и игрив. И еще странность! Даже не знаю, как написать. Он перестал меня стесняться. В общем, почему бы нет? Привык. По утрам долго нежиться в постели, разговаривает о пустяках, позволяет войти в комнату, когда еще раздет. Сначала я боялась его смутить. Теперь в пору самой смущаться. В его характере, похоже, раскрывается новая черта: простодушие и безалаберность. Это доверие ободряет. Но в иные минуты пугают его глаза.

Последняя прогулка в парке. Рассказала ему о кошмарных месяцах смерти мамы. Так получилось. Нашло. Теплый вечер. Полусонные деревья. Пруд. Он обернулся, и я впервые поняла: он напоминает мне Игоря. Игорь был на три года старше Артура, когда мы познакомились. Развязный и самоуверенный из-за положения родителей. По существу, ни до, ни после Игоря, у меня не было мужчины, который был бы

для меня всем. Родители были далеки от полового аскетизма, говорили на любые клубничные темы. Меня даже смущала, как принято говорить, широта взглядов папы и мамы. Их увлекала игра, легкий флирт, но не похабщина. Игорь единственный мужчина, который провел меня от начала, до, увы, самого конца: счастье любимой женщины – горе брошенной жены. М-да. Не зря же Природа разделила человечество на мужчин и женщин. Теперь поздно сожалеть или гордиться целомудрием.

Артур в квартире пристально посмотрел на меня. Я увидела его глаза в отражении зеркала, и мне стало не по себе. Взгляд взрослого мужчины. Это глупо, но он смотрел на меня, как на женщину. В том самом смысле!

Может эта прогулка, и перемены в поведении мальчика связаны?

Да, он мне нравится как мужчина. (Как ребенка, я его люблю.) И, бесспорно, обладает самым важным мужским качеством: уважает женщину. Какой-то очень повезет. И в то же время нахлебается она с ним.

Вчера впервые за несколько месяцев, перед зеркалом осмотрела бедра, живот, грудь. Вот, дуреха. Но вообще-то, старость, которую я себе внушила, после ухода Игоря, придумана. Нравится играть в затворницу? Красота моя никому не нужна. Разве, старым друзьям. Но они ко мне привыкли, и замечают лишь, сравнивая с Викой или Ларой. Больше я никому не пыталась «подарить» себя. Как Артур сказал про

свою мать? (Мы с ней, кажется, ровесницы.) «Нашла смысл жизни в своем горе...»

А ведь Артур заставил меня вспомнить, что я женщина.
17 августа. Суббота.

Вот, в чем дело! А ты напридумала!

Смешно и неприятно, верно? Вида я, слава богу, не пода-
ла. Умеешь держаться? А он... А что он? Мальчишка, глу-
пенький и хитрый. Оказывается, хотел соблазнить меня та-
ким вот чудным способом. Наивно, конечно, с его стороны.
Но, если бы он не переборщил... Перечитай-ка выше.

Не издевайся над собой. Без того тяжело.

Не стоило так резко выговаривать ему. Подумаешь, одел-
ся передо мной! Да, не прилично. Мое замечание обескура-
жило его. Думаю, то дурное, что он замыслил, теперь у него
не получится.

Что же тебя так кольнуло? Он скрывал свои гадкие мыс-
ли, а ты считала это родством душ, и все такое. Ждала бла-
годарности, ничего для него не сделав. Кто ты ему? Хозяйка
квартиры, благодетельница? Но «благодетелей» то, как раз,
и ненавидят. Он решил перестраховаться, приручить меня.
Вдруг я передумаю с пропиской. Но разве я стала относить-
ся к Артуру хуже? Напротив. Мне так хочется растопить его
лед, помочь. Чтобы он увидел во мне друга.

Печально иное. Как человек, ты ему не интересна. Вот,
от чего грустно и смешно. Наподобие того, как критик
у Пушкина подчеркнул стих – «я человек и шла путями за-

блуждений», – «усумнясь», может ли женщина называться человеком. Или решения Петра Великого: женщина не человек, курица не птица, прапорщик не офицер.

Теперь он себя проявит по-настоящему. Уличенные честолюбцы опасны: либо превращаются в настоящих подлецов, либо стремятся замолить вину. У меня появился шанс перейти из разряда безразличных ему людей, в более высокую и абсолютную для него категорию – ненавистных...

И все-таки мило прозвучало: «...хочу к вам прикоснуться...» Ах, Артур, Артур, глупенький ребенок!

20 августа. Вторник.

Он у меня лишь три недели, а кажется всегда...

Нет, правда! Теперь я понимаю его поступки меньше, чем прежде. Сегодня, например, я снова видела в зеркале его глаза. Он смотрел мне в затылок. Угрюмо, тяжело! Не хочу думать о ненависти. Иначе это страшно, безнадежно и совершенно необъяснимо. Тяжело с ним. Очень тяжело. Ребенок в переходном возрасте. От провинциала, к жителю столицы. Но каким станет его сердце после этого города, жестоким или добрым?

26 августа. Понедельник.

Низость. Самая настоящая низость. Я не ожидала этого от Аркадия! К чему травить мальчика ложью, рассказывать небылицы о нем? Как ему не стыдно передо мной! Опять я виновата, тупица! Аркадий был взвинчен и оскорблен. Надо было дать понять: оскорбляя мальчика, он оскорбляет меня.

Собственно, сегодня, когда Артур ушел в магазин, Аркадий заслуженно получил от меня. На этот раз трубку бросила я. Аркадий растерялся. Кажется, был пристыжен и огорчен. Ко мне у него какие претензии? Как обычно, несдержан и груб. Еще перезвонит, извиниться.

Сейчас я долго думала. Он, конечно, был пьян до чертиков. А как водится, с пьяного взятки гладки. Но ведь еще известно, что у пьяного в голове. А ты воспользовалась его взятками! Тварь! Он давно не ребенок. И все, что он вытворял: хамство пьяного мужлана, безнаказанного, наглого. А я? Ну, что, что я! Я человек! И каждодневно бегу от себя. Бегу в свой хрупкий улиточный домик. Словно, опасность не внутри меня, а снаружи. Да, я хотела его объятий, хотела касаться его тела. Я поступила гадко. Но кто об этом узнает? Зачем лгать себе на этих страницах, где в молодости я говорила только правду. А сейчас ни разу не написала о безумных, кошмарных, ужасных снах, значение и причину которых, не знает лишь ребенок. Ведь ни одна душа – тем более он! – не узнает о вожделении старухи. Я не могла его оттолкнуть, не хотела этого. И ни одна женщина в моем положении, волевая и нравственная, находясь в здравом уме, не переборет свои желания. Меня пугает другое: был ли он до беспмятства пьян?

Пьяный мужчина обычно однообразен в домогательствах. Правда, ко мне пьяным подступал лишь Игорь, и ему не нужно было брать меня приступом. Мальчик слишком умело

и расчетливо раззадоривал, выдерживал паузы! Так делал Игорь, стараясь нащупать податливые, сладкие места в первые недели нашей жизни вместе. Это была игра. Как он называл: разведка боем. Дважды мне померещился осмысленный, сосредоточенный взгляд, и, что ужасно, показалось, будто он понял, что я поддаюсь! Я не виню его. Повод-то дала сама...

Замлела девочка, удовлетворила любопытство? А дальше, что? Ничего! Держи себя в узде! Иначе оба окажемся в идиотском положении, и наша жизнь станет невыносимой. А он все настойчив. Назавтра ошпарил меня взглядом, хоть прикидывался кротким.

Я далека от самонадеянной мысли внушить ему что-то больше уважения. Но мальчики в его возрасте – заядлые фантазеры. И, если ему померещится, что я дала повод, это плохо кончится...

А у него сильные руки и уверенная хватка. Должно быть, он не церемонится со своей девушкой, и ей это нравится. Если она не безнадежно глупа. Вот тебе и мальчик-одуванчик!

...Перечитала написанное. Какой ужас! Да ты просто развратная дура!

29 августа. Четверг.

Сегодня был странный разговор. Артур не хочет «фиктивно жениться». Его можно понять. Мы мечтаем о своей семье. Чтобы нас любили, ждали дома. Сами любили и берег-

ли близких. Эксплуатировать это – дико. Потом выясняется: часто брак – скучнейшая вещь. Если месяц назад моя помощь казалась ему неожиданной удачей, выгодой от случайного знакомства, то теперь он переменился. Нет, он все тот же: мужская гордость (почему-то принято говорить о женской гордости, вероятно, из-за редкости этого качества, как драгметалла!) не позволит ему корыстно использовать женщину. Хорошо знакомую женщину. Чужие для него – бесполы.

Допустим, ты права. Тогда многое в его поведении объяснимо. Например, я лишь вчера догадалась: у него кончились деньги. Предложила вечером по утру сходить за картошкой. Он что-то пробурчал и покраснел. А утром, недовольный, отвернулся от кошелька на столике и порывисто вышел из квартиры. Самолюбие. Теперь спозаранку исчезает куда-то до темноты. Может, подрабатывает. Или с девушкой пропадает. Дай бог, чтобы у них получилось. Тогда Бочкаревы ему подавно в тягость.

Одни догадки. Ничего толком не знаю. Глупо, но – правда: не хочу думать о другой рядом с мальчиком. Э-э, дорогуша, это ревность! Окончательно перестала стесняться своих мыслей. Пусть! Единственная возможность говорить о нем – на этих страницах. Вздыхай, вздыхай!

Пригласила его девушку к нам. Согласился. Любопытно, какая она?

30 августа. Пятница.

Начало двенадцатого. Он спит.

Поздравь себя. Добилась, чего хотела. Он любит тебя. Хотела и боялась этого. Но не ждала такого пронзительного чувства. Или чувственности, которую он принимает за любовь? «Выкинуть, как старую, ненужную тряпку!» А ведь мог. (Только, вот, куда?) В борьбе расчета и совести – мог. Чем он пугает меня, и чем интересен. Неужели ты, старая потаскуха, сумела охмурить молоденького, симпатичного мальчика! Так чему ты радуешься?

Бедная девочка, он ее никогда не полюбит. А я, кажется, не дурно выглядела.

А дальше-то, что? Допустим, мальчик привяжется. Но я то не сумею полюбить его как мужчину. Слишком много пережито и перегорело в сердце. И отказаться от мальчика я тоже не могу. А он не потерпит «материнской любви». С ним нужно идти до конца, либо оставить в покое...

Боже, о чем я думаю? Если бы я и допустила пошлую, лубочную связушку (невозможно и отвратительно!), никогда бы не простила себе низости по отношению к ребенку. Узнай кто-нибудь, бесчестное клеймо, как татуировка на лбу, останется пожизненно. Для всех я буду гадиной, сумасбродной старухой, совратившей мальчика. И ведь я прекрасно понимала: он увлекся. Понимала: ему всего двадцать, и он практически не знает женщин. Старый прием: обыденная внешность девушки, не ждавшей подвоха, и расфуфыренная молодящаяся мадам. Специально, хитрая, старая дрянь пригласила ее, чтобы он сравнил. Тогда, либо проиг-

рала б его, либо он сильнее привязался ко мне.

Они подходят друг другу. Нашим красавицам нужны деньги и связи. И лишь такие симпатичные простушки разглядывают в нем человека.

Но взамен, взамен то я, что могу ему дать? Тело? Когда он поймет, что я никого не люблю, он возненавидит меня. И я останусь со своим эгоизмом.

Даже теперь в тебе – спесь и насмешка. Вечно ты играла людьми. Тебе доставлял удовольствие пустой флирт, кончавшийся ничем, лишь человек загорался тобой. Один Игорь знал о моем врожденном равнодушии к людям. И теперь ты хочешь уничтожить мальчика, его любовь! После этого он навсегда замкнется, ожесточится!

Как же быть? Любовь не бывает пошлой! Платоническая любовь такая же чушь, как для влюбленных отвратительна голая физиология. Я не сумею переступить через себя, и дать ему, что он хочет. Если бы (представлю невозможное) это произошло, скрываться ни он, ни я не станем. Начнутся пересуды соседей, друзей. Невозможно! Замкнутый круг. А дальше – труднее. Самое же ужасное: я не могу без него. Не могу!

А какие у него были глаза! «Что же я в вас нашел?!»

3 сентября. Вторник.

Милый мальчик. Как приятно знать, что кто-то тебя защищает. Представляю, что он наговорил Леше и Зине с его прямоотой и точной оценкой людям. «...безнравственный ци-

ник... Для него нет ничего святого... Неужели ты не понимаешь: это один из тех опасных молодых субчиков, которыми кишит город...» Да, что же вы знаете о нем? Он издевался над вами! Испугались мальчика, обыватели вы трусливые. А чего ты ждала от Леша? Что он для меня гопака спляшет? Для Бочкаревых я бесполезная, старая и скучающая дама. Их помощь, не дань уважения папе, а оброк. «Авось передумает. Будем пока благодарными». Мальчик раскусил их. «Чистенькие!» Вот так! Теперь попробуйте справиться с собой и с ним. Попробуйте отменить «сделку». Воспитанные и жадненькие краснобаи.

И признайся: тебя умиляет, что этот недоверчивый волчонок защищал именно тебе. Хорошо, что в мальчике твердости больше, чем во мне.

Сегодня, кстати, Саша спрашивал об Артуре. С любопытством и настороженностью. Их, кажется, заинтриговало, почему он живет у меня? «У тебя материальные затруднения?» Саша неподражаем в своей прямоте: предложил деньги. «Нет. С чего ты взял?» «Вика сказала, якобы ты комнату сдаешь. Нет? Вот ходячая трепалогия!» (Это о Вике.) Но, кажется, не очень мне поверил. Обещал навестить. Очевидно, хочет сам убедиться, что у меня все в порядке.

А я о Саше за две недели совсем забыла!

8 сентября. Воскресенье.

Саша и Лара пожаловали вечером. Артур опять куда-то исчез допоздна. Они видели лишь его вещи, разбросанные

на диване.

Со свойственной Саше бесцеремонностью он усталился на меня. Спросила, что случилось? А он: «Что ты с собой сделала?» Я встревожилась. «Нет, нет, – говорит, – я рядом с тобой просто старик!» А Лара ни без ехидства: «Да ты, никак, голубушка, влюбилась! Давно пора. Это нам на пользу!» Шутники. Но, кажется, я действительно изменилась. Сладкое томление и радость, будто не осень за окном, а весна.

Ребята не дождалась моего гостя, и уехали встревоженные. Их беспокойство напоминает истерику Бочкаревых, с той разницей, что Дыбовы еще ничего не знают (с Лешей лет пять не общаются).

Куда же Артур пропал? Что-то случилось. Двенадцатый час ночи!

14 сентября. Суббота.

Дождь. Опять дождь. Артур ушел. И снова он нанес, как говорят у боксеров, запрещенный удар.

Это произошло вчера. Он пришел ко мне. Еще мгновение и все бы кончилось. После такого поступка мы не смогли бы оставаться вместе. Я бы не допустила этого. Но и то, что я ему позволила...

Грустно и тоскливо. Я мучаю его и себя. И не вижу выхода. Даже сейчас чувствую его уверенные руки, дрожь его тела. Ужас в том, что мне, как девчонке, страшно и приятно. Одним вздохом горячих губ он разрушил карточный домик, в котором я пряталась от своей любви. Да! Да! Он млад-

ше на двадцать восемь лет! Боже, какая в этой цифре бездна времени для человеческой жизни! Когда его мать носила его в себе, я прожила половину своего срока, и расскажи мне кто-нибудь тогда, что я буду мучиться из-за любви к еще не родившемуся мужчине, бред сумасшедшего показался бы мне правдивее. Но ведь стареет тело, не душа. Потому я так хорошо понимаю его. Задаю вопрос: что он нашел во мне? А ответ один: ни он, ни я, не думаем о времени. Если бы мне было двадцать, и у меня был нынешний опыт, я, не задумываясь, выбрала Артура. Но мне сорок восемь! И лучшие силы души он растратит напрасно.

Представила его мать, ее ненависть, недоумение Саши, Лары, всех! А насмешки, пересуды сверстников мальчика! Нет, не возможно!

...Пусть бы он скорее возвращался, или не приходил никогда. Мне кажется, я до судорог в руках хочу обнять его. А как сладки эти его прочнейшие и легчайшие оковы: из них бесполезно вырываться!

Начало первого. Вышла в парк. Его нигде нет. Иду спать.
24 сентября. Вторник.

Милый мальчик! Я знаю, я хочу знать только одно: я люблю его! Люблю его руки, лицо, брови, глаза, плечи, скрытность, доброе сердце. Пусть по-своему, по-стариковски, хотя, какая из меня старуха! И не отдам его никому! Осталось только ждать, чем все кончится.

На нем не было лица, когда он вернулся и выложил эти

проклятые деньги. Не в деньгах и не в этом его поступке дело, необдуманном, рискованном и бесцельном. Он живет для меня, дышит мною. Ты видела в глазах взрослого мужчины слезы от любви к тебе? Никогда. А он взрослый мужчина. Взрослеющий мужчина. И пусть, таких много. Но любит меня он один. Он мной! И копаться в наших отношениях я больше не хочу. Только бы он оставался рядом. Но ведь это – конец. Ты не смеешь ломать его жизнь. Только мой здравый смысл предотвратит катастрофу. Но не хочу, не хочу бороться с собой! И выхода нет. Милый, милый мальчишка, что же ты сделал со старой, глупой бабой, как же ты перевернул мою и свою душу! Никто не поймет, и не простит нас!»

В октябре я съездил домой за теплыми вещами и костюмом к свадьбе.

За окном поезда замелькало невзрачное дощатое здание вокзала, перрон, земляки, родное захолустье. Всего два месяца назад я, в собственном представлении бывалый воин, пообтертый жизнью мужик, а в действительности самонадеянный, крикливый птенец выпорхнул из тесного гнезда своего детства. С того дня минула вечность. Здесь было все по-старому, бывалому, но без меня...

Наш одноэтажный беленый домик. Грязно-серая в дождевых потеках шиферная крыша под пышными кустами сирени, в окружении старых кривых яблонь. Неужели здесь прошла бы моя жизнь? На пустыре у дома я впервые в одиннадцать лет стоял «стенка на стенку» с пацанами против соседней улицы, и через час изнурительной драки кто-то первый из наших побежал. За ним остальные.

В конце улицы на лугу, где и сейчас пасутся козы, среди черных развалин сгоревшей избы, мы с пацанами раскуривали свою первую пачку дешевых сигарет, и потом я боялся шелохнуться в обжигающем кусте крапивы: прятался там от накрывшего нас соседа. По этой улице несли в гробу моего лучшего друга. Он разбился на мотоцикле в шестнадцать лет. Я шел в толпе. Люди переговаривались под фаль-

шивые взвизги духовой меди. Я не испытывал горя. Может грусть. У могилы я рассматривал огромный, замазанный синяк на левой половине лица покойного. Из-под приоткрытых губ белели его зубы, глаза подглядывали за траурным обрядом сквозь щелочки век. А я гадал: что последнее выхватывало у жизни его меркнувшее сознание, и было ли ему страшно умирать? И тоска, тоска среди забытых крестов: жил человек, суетился, лег в землю, и будто ничего не было. Неужели это мое единственное, важное воспоминание из юности!

Дома мать, юркая, неунывающая, говорливая...

Я вспомнил Елену Николаевну. С трепетом и радостью. Запах ее волос, улыбку. И ощутил счастье, словно хмурым днем из-за туч блеснул рыжий луч солнца. Еще темно, пасмурно, но зыбкий небесный свет ласкает землю и на сердце покойно. И радость эта каждое мгновение. И мгновений этих впереди бесконечно много.

Назавтра, сославшись на работу, я уехал, как ни упрасивала мать остаться хоть на денек. Уехал без сожаления.

Я еще не знал, что спустя неделю вернусь сюда с той же тоской и безысходностью в сердце, как сегодня нес драгоценные капли счастья в том же сосуде.

Не знаю точно, что в людях больше ненавижу: привычку соваться в чужую жизнь, или, напротив, не замечать чужой боли. Пожалуй, то и другое.

В брачную аферу были посвящены мои будущие родственники и семейства Дыбовых и Лимоновых. Чаше прочих напоминали о себе тещь и теща. Затем легендарный Саша Дыбов. Седовласый мужик моего роста и буйволово́й стати, с брюшком в пол херсонского арбуза, в белой сорочке, при галстукe и в ветрогонах брюках, напоминавших ширью шаровары запорожских казаков эпохи Хмельницкого. При встрече он приподнимал бровь и мерил меня таким взглядом, будто за шкуру вертел нагадившего котенка с поджатым между задних лап хвостом, и делал внушение. У него были все ухватки ротного старшины: зычный голос, командирская прямолинейность, грубость и беспардонность. Впрочем, это мое предвзятое отношение к Дыбову. По правде, он был довольно сановит и приличен. Ему бы еще крашенные бакены и усища, и вот вам кирасирский генерал Загорьянский.

Я вернулся с вокзала. Из комнаты доносился приглушенный неплотно прикрытой дверью, вещий рык производственного или министерского (никогда не вдавался в детали субординации) командира.

– Лена, послушай Алексея! Этот субчик приберет к рукам их квартиру, и тебя разует. Что за близорукость, честное слово! Откуда у него деньги, если он нигде не работает? Мать дала? Воспитательница яслей? Т-х-х, не смейся! Ты же видела этих бездельников, которые теперь страну разворовывают. Молоко на губах не обсохло, а уже делами ворочают, на таких машинах разъезжают...

– Мы тоже не пешком ходили.

– ...Я, конечно, пристрастен. Решать тебе. Но, Лена, прислушайся к здравому смыслу. Сразу несколько человек не ошибаются.

– Саша, ты же его не знаешь! Как он устроится на хорошую работу без прописки? Куда? На завод по лимиту? Да брось! Ничего ведь еще не ясно. А деньги он заработал. Ну, в общем, не украл!

– Не украл, – буркнул голос. – Кто он тебе, сын, родственник? Вспомнит он тебя, жди! Да посмотри на его манеру обращаться с людьми. Типичный выжига, наглец...

Как обычно, в том же духе. Если мне удавалось войти незаметно, то я с книгой уединялся в своей комнате, а визитер вдохновенно витийствовал. Я бы не обращал внимания на вздор о себе, совершенно мне не знакомых людей (хотя без особого удовольствия утирал лившиеся на меня помой), если бы Елену Николаевну не угнетали эти аудиенции и телефонные внушения. Хозяйка, спасибо ей, как могла, оберегала меня от своих друзей, обеспокоенных вторжением

чужого в тепличную благодать одной из их круга. Мы скорее по инерции продвигались к развязке брачной аферы, изо всех сил поддерживали друг в друге боевой дух противоречия всем...

Еще о новых знакомствах. Елена Николаевна представила меня с намеком на будущее заправила какой-то ассоциации «рога и копыта», одной из тех, что сколачивала капитал из воздуха, познакомила с ее институтским товарищем и бывшим партийным бонзой районного масштаба Москвы, Романом Эдуардовичем Ведерниковым. Маленький, плешивый, с глазами, лицом и ужимками умной мартышки. Концепция предпринимательства Ведерникова была прозаичной: «Занимайся, чем хочешь, и как хочешь. Крыша фирмы – твоя. Двадцать процентов со сделки мои». У меня пока не было начального капитала.

Ка бы я вел тогда дневник, то закрутил бы слог так: по этому песку жизни струился кристальный родничок моей любви, и его не мог замутировать донный мусор повседневности. О любви принято щебетать, а не укладывать на нее чугунные плиты тоски.

Это случилось недели через две после моего октябрьского возвращения в Москву. Мы отправились в театр-студию какой-то знаменитости или его чада. Не помню точно. В те годы театральные новации возникали часто и громко, чтобы затем тихо отойти. Смотрели популярную пьеску о вождизме. Лавина откровений и разоблачений захлестнула в те месяцы изголодавшуюся по правде публику. Мы оказались не чужды интеллектуальных ахов. В конце концов, нужно же было как-то культурно подтягивать меня.

Аншлаг, бездарная, но самоотверженная игра, триумф, пешие овации, вкусивших правды театралов, обласканная вниманием труппа.

Я украдкой подглядывал за Еленой Николаевной, потому что не смотреть на нее не мог. Курушину раздражала моя несдержанность.

– Смотри спектакль. Разве тебе не интересно? – шепнула она.

– Нет, не интересно!

Углы губ женщины дрогнули, то ли в улыбке, то ли от нетерпения, и она вытянула шею, чтобы рассмотреть действие за головой верзилы впереди.

Как же я любил ее!

Она надела костюм из темной шерсти с глубоким выре-

зом на юбке сзади. Пышные, завитые волосы нимбом червонного золота переливались в подсветах рампы. Прямой классический профиль с породистой ахматовской горбинкой на носу, словно мраморный античный барельеф. Тени и грим наложены с интуицией красоты и вкуса. Скептически сомкнутые черешниво-густые губы. Кожа лица упругая и бархатистая. Из-под локон, ниспадавших до воротника завитушками, в ушах знакомые мне бриллианты на золотых нитях. На лацкане ее пиджака, на левом холмике груди расцвела бриллиантовая лилия. С тщеславным ликованием я коллекционировал жадные взгляды мужчин, скользившие от ее ножек, по осанистой спине и чуть надменно вздернутому подбородку. Считал победные очки зрительских симпатий на негласном конкурсе красоты единственной участницы. Я был ее незаметный паж в сером и тесном костюмчике. Но остальные то всего лишь зрители! Она была моя до кончиков волос во всем блеске красоты

Елена Николаевна слегка растерялась среди разношерстной публики. Но быстро привыкла к обстановке ведомственного клуба, и уже в вестибюле мало обращала внимания на бесцеремонные взгляды невеж. Казалось, после длительного перерыва она проверяла свой талант завораживать людей. Восторг пенился во мне весь вечер, и я бережно нес его до самого дома.

Последние дни Курушину все чаще раздражали мои немые восторги, пассивность и робость. В ее голосе змеились

ядовитые тона, но, хватившись, она тут же прятала их за привычной сдержанностью. Я, раб Елены Николаевны, не замечал других женщин. И теперь находил это нормальным.

...Мы поднимались по ступенькам лестницы и невольно замедляли шаг, словно оттягивали конец праздника. Было по-осеннему прохладно и неуютно. Елена Николаевна неудобно держалась за мой локоть в тесном подъезде. И вежливое прикосновение ее руки в перчатке волновало меня.

Между этажами я обернулся, легонько приподнял ее подбородок и поцеловал в губы, пахнувшие черешней. Ее глаза остались открытыми, мягкий рот не ответил на аспидные выпады моего языка. Она отстранилась, поправила локон, и, придерживая полы пальто, чтобы видеть ступеньки, ушла вперед.

– Все обольщаешь? – иронично уколола она. Я виновато осклабился и поплелся следом, проклиная себя за трусость.

Дома я переоделся, умылся, разобрал постель. Елена Николаевна в той же последовательности дублировала мои приготовления. Если бы я регулярно встречался с Нелей, или примитивно выпускал гормональные бури – в моих снах Елена Николаевна, то нагой седлала меня, то обнимала мои плечи бедрами, и сладкий ужас стыл на пальцах! – то, вероятно, все бы обошлось. Но я превратился в похотливое животное. Мечтал о ней, хотел ее судорог и стонов страсти, ее жарких губ, тех и этих...

Она вышла из комнаты в шелковом пеньюаре, струившем-

ся по возвышенностям ее тела. Меня не остановил даже ее ледяной взгляд...

Я поцеловал ее в безответный рот. Движением пальца обнажил ее плечо. Воровски трясущимися руками расстегнул ее бюстгальтер: эротическая лихорадка колотила меня. Я приласкал ладонью теплое двухолмье женщины, и как голодный младенец жадно прильнул губами к светло-коричневому, упругому соску. Только тогда она вздохнула и, запустив пальцы в мои волосы, оттолкнула мою голову. Ее изумрудные глаза прояснились от сладкого тумана, и мы неприязненно посмотрели друг на друга. Я бицепсами осязал ее голую грудь, пальцами лопатки.

– Тебе самому не надоело? – заговорила она тихим грудным голосом. – Ты хочешь, чтобы я стала твоей любовницей? Зачем? Удовлетворить тщеславие? Тебе не хватает Нели, молоденьких девочек? – голос ее понизился до взволнованного жалобного речитатива. – Очнись, очни-и-ись! Ты видишь эти морщины, эту пегую паутину? – она высвободила руку из объятий, ущипнула себя за щеку, щепоткой схватила прядь волос. – Что за удовольствие посмеяться надо мной! Я ведь не сделала тебе ничего плохого. Ты уйдешь, а я останусь среди тех же людей...

– Замолчи! Замолчи! Замолчи! – прошипел я сквозь зубы: в груди ныло. – Ты вымотала меня! Да, я бы тебя уже давно трахнул, если б не любил!

Она замахнулась для пощечины. Я перехватил ее руку,

как ребенка поднял, пронес ее, извивавшуюся, и вместе с ней рухнул на диван.

Мы боролись насмерть. Чем ожесточеннее я срывал ее одежду, тем пассивнее она сопротивлялась. Наконец, затихла, и повернула лицо к стене. Помню, в этот миг я подумал: «Остановись!» -, но животом уже ощущал ее мягкие шелковистые волосы, бедрами – безвольно раскинутые ноги, телом – примятые груди. Я впился губами в сосок, и когда она застонала, бережно вошел в нее...

Она лежала, как бревно. Я сопел, злился на себя, скота, и никак не мог освободиться от бремени. Наконец, она зашептала сладкий бред, впилась мне в рот жаркими губами, стиснула мои плечи, и за это мгновение я бы умер сотни раз. Сейчас я знаю: не раскройся она, выдержи мученическое бесстрашие насилуемой, и этой истории не было бы...

Я затих. Ее ладонь скользнула по моему плечу в запоздалой ласке. Елена Николаевна открыла глаза.

Потом, опустив ноги на пол, я неуклюже одевался, подавал ей халат и избегал смотреть на наши липкие тела.

– Подожди меня в той комнате!

Я храбрился и внушал себе: «Ничего не случилось». А сердце барабанило, как у преступника. Помню свой стыд: «Ей же сорок восемь!»

Елена Николаевна вошла в голубом, знакомом до ворсинки, халате, руки в карманах, волосы закручены на затылке в узел. Домашняя и простая. Весь вид ее говорил: «Что же

с ним делать?»

В двадцать я проще смотрел на такие вещи. Сегодня Ларина не написала бы письма, Каренина не бросилась бы под поезд, а Настасья Филипповна вышла бы за идиота и изменяла бы ему с Рогожиным! Трахнулись, ну и что? Эволюция – это от простого к сложному, от тела к душе. А Курушина нарушает законы природы: норовит от души к телу, ерничал я. Впрочем, с какой эволюционной стороны не подходи, скотский опыт – снюхались, опорожнились и разбежались – лишь уродовал душу.

Курушина села напротив за стол и закурила. Ее щеки еще рдели, глаза поблескивали, и, честное слово, она даже помолодела.

– Доволен?

– А вы?

Мне хотелось хамить, подзуживать ее, но я вдруг почувствовал усталость. Мы ожесточенно воевали друг против друга за то, чтобы быть вместе! Я устал от себя. Устал бравировать независимостью, злостью, напускным цинизмом, в действительности тоскуя лишь об одном, о любви. И вместо любви, раз за разом, получал ее сурагат: похоть и жалкие страстишки.

По торжественному лицу Курушиной я угадал: она собирается сморозить какую-нибудь пошлость. И заговорил первым.

– Я читал ваш дневник...

Женщина по инерции кивнула, соображая.

– Значит тебе незачем объяснять, что ты не можешь здесь остаться.

– Безусловно! Страницы о ваших страхах очень сильные!

– Не геройствуй! Ты тоже боишься!

О, в этот вечер мы всласть поиздевались друг над другом.

Прирожденные живодеры.

Да, да! Ее друзья, мои друзья, знакомые, соседи, взгляды в спину, пересуды, страх не за себя, а за нее, и наоборот. Мы, тщедушные пигмеи, покусились на ношу исполина. Как же я ненавидел себя, свои страхи, мнения людей, таких же жалких, мелочных, трусоватых, как я!

– То, что случилось сегодня, не повторится, – округлила мысль Елена Николаевна. – До свадьбы поживешь у моих знакомых.

Она еще не понимала, что огласила приговор: сыто курила, принимала решения! Я поднялся. Курушина из комнаты наблюдала, как я собираю сумку, надеваю туфли. Наблюдала манерно, с пронизательным прищуром от дымка сигаретки.

– Этим передайте: ничего не будет! – я едва укротил злость. Вот, когда она встрепенулась: это серьезно! Вскочила и засемила в прихожую.

– Артур! Что за глупости? Столько сил потрачено! Куда ты собрался? На вокзал? Ты же можешь переночевать!

Я оскорблено обернулся. Но... но еще мгновение и я не увижу ее ни завтра, ни послезавтра. Настоящее при-

мет нас по одиночке! Ее изумрудные глаза прокричали мне мои же мысли. Мы обнялись, и стояли так вечность, напуганные любовью, до которой, собственно, никому нет дела.

Спустя минуту я убегал в черный город, не стесняясь своих слез.

Первый месяц дома помню плохо. Слонялся как пьяный по городским конторам трестов и управлений: искал работу. Подальше от людей. Люди раздражали. Заметив знакомого, спешил на другую сторону улицы или сворачивал в переулок. Заезавшись, выслушивал: «О! Как Москва?» – мне мерещилась ехидца в голосе, и я, промямлив что-нибудь, убегал. Мать вздыхала. Ее друг, начальник автоколонны, породственному звал водителем в таксопарк. Все это смешалось в унылый калейдоскоп.

Дольше всего я продержался на должности грузчика пищевой базы. Три недели. Здесь меня приняли за инкогнито проверяющего. Когда недоразумение выяснилось, соратники склоняли «дембеля» стимулировать труд водкой. Потом отвязались. Раза два-три в день под ревностным надзором надменной кладовщицы я закидывал дюжину ящиков с деликатесами – забытое ныне слово «дефицит»! – в горкомовские автобусы, или ведомственные каблуки ранжированных организаций. И вся работа.

Среди ящиков и коробок склада, в армейском бушлате без погон и в кирзе (переоделся на второй день, чтоб не нервировать коллег) я чувствовал себя сносно. В душе расстилалась Сахара. Когда болит, надо найти удобную позу и не шевелиться. Неосторожная мысль – «и она бы так подумала», слу-

чайное слово – «а она говорит так», знакомый жест – «нет, она иначе поправляет одежду», даже коробок спичек – «она зажигает огонь не косым ударом, а двумя пальцами продольно, словно держит пинцет», все причиняло боль. Душа гноилась. От моих нервов словно отделили плоть, и эти анатомические узелки и разветвления поместили в вакуум.

Днем я еще терпел: мелкие хлопоты отвлекали от воспоминаний. А вот ночью! Тоска безнадежно больного и пустота одиночества. И этот кошмар гложет и гложет, и некуда деться от него.

Сначала в памяти ничего определенного. Потом разрозненные наброски перемешиваются в мазню. От этой вакханалии цвета сатанеешь, рвешь зубами наволочку, и затихаешь, чтобы не всполошить мать. И тут нагромождение цвета выстраивается в композицию, эскиз, которому раньше не придавал значения, становится отчетлив, и причиняет новую боль.

Помню, Елена Николаевна гладила мою рубашку. Недавний армеец, я все делал сам и стыдился сторонней помощи. Я отнял у женщины уют. Она виновато улыбнулась, постояла, и, кутаясь в шаль, вышла. Я обидел ее.

Или, вот еще. Я курил на балконе в сильном раздражении. Она облокотилась о перила рядом. Весело заглянула в глаза. Предложила погулять в парке: старалась растормошить мое настроение. «Опять скучать среди аллей вашей молодости!» – нагрубил я. Она с минуту рассматривала августов-

ский вечер, и тихонько скрылась в комнате.

Все заканчивается. Должно же закончиться и это!

Я порывался написать, позвонить...

Но что я мог добавить к своей любви? Вложить в конверт душу? Вместо телефонных проводов протянуть свои нервы? Душа и так осталась с ней. А о любви не молят.

Помнится, в те же дни, кажется, в поезде я познакомился с девушкой Леной. Но кроме святого для меня имени, больше ничего в ней не заинтересовало меня. Даже бюст, один способный свести с ума ценителя женских форм. Наверное, девушку во мне привлекла романтическая меланхолия. В тамбуре перед расставанием она жаркими губами коснулась моего сухого рта.

Я добросовестно употреблял новые встречи, как лекарство против недуга. Когда мать была на работе – о, эти коммунальные половые связи, так знакомые моему поколению! о, этот квартирный вопрос! – я привел новую пассиву домой. А в ответственный момент обессиленный сел в постели, не испытывая ни стыда, ни разочарования, а лишь брезгливость к куску белого, теплого мяса под простыней, и свирепую тоску.

Девушка оделась быстрее духов моего взвода по тревоге, с яростью крикнула «дурак!» и навсегда исчезла из моей жизни.

Позже я проводил повторные эксперименты. Добросовестно наваливался на девиц, имитировал страсть, и призы-

вал на помощь память о Елене Николаевне. Мои подружки так и остались в счастливом заблуждении. Я прикасался не к ним. А, зажмурившись, оставался с женщиной, которой был безнадежно болен, и доставлял удовольствие не им, а ей, чутко реагируя на ее судороги и стоны.

Если я неосторожно открывал глаза и видел замлевшую размалеванную рожу, то вынимал из чужой мокрой пещеры вялый труп.

Оказывается, я однолюб. Это открытие не принесло мне облегчения.

Случалось, я уединялся в лесу. Среди запахов увядающего разнотравья, щебета птиц, жужжания и шуршания насекомых, их приготовлений к близкой зиме, среди примитивной и нешуточной борьбы за существование, чуждой сомнений и расстройств, я отдыхал. Ощущал себя президентом, если не земного шара, то вот этой поляны. Человек таскает за собой вчерашний день, ищет хотя бы глазок в дверь – завтрашнего. А жизнь признает лишь настоящее. Скрипучая телега с хламом ненужных воспоминаний не стоит заблудившегося на щеке муравья, стеклянной паутинки на подбородке...

Морозное утро. Ледяные росписи на окнах...

Лицо в отражении туалетного зеркала. Именно в тот день, взглядываясь в зрачки, словно измученной, больной собаки, я понял, болезнь отступила. Универсальное снадобье от сердечной хвори – время – затянуло ссадины. Меня снова интересовала действительность.

Я по-прежнему хотел все и сразу. Но теперь ради этого готов был потрудиться. Неудачная попытка отыскать в себе нечто человеческое, убеждал я себя, обострила мои звериные инстинкты. Все лучшее в себе я посадил на голодный паек в самый холодный чулан памяти.

Мой старший школьный товарищ срочно сплавлял два вагона сливы в спирт и искал посредников. Я вспомнил о Ве-

дерникове, ухватился за предложение, на ходу изучая азбуку предпринимательства. И через три недели в мутной воде тогдашней державной неразберихи выловил первую золотую рыбку. Что? Откуда? Куда? Прошел я эту школу. Мне понравилось вершить свою судьбу своим умом. Знаний не хватало. Но это было время объединений в стаи.

Заматерев, я дивился, сколько раз балансировал над пропастью полного разорения, и не летел туда, потому, что толком не знал, где глубже. Дуракам везет! В конце концов, мне шла на пользу всякая наука!

Мою не дюжую работоспособность и нахальство тех месяцев питало желание доказать Елене Николаевне, ее знакомым, что я обойдусь без них, и этот мегаполис, без единой слезинки, едва не раздавивший меня, еще признает меня своим. Себя же я пытался обмануть, что хочу забыть Нелю, Раевских, свои глупые мечты о столице, о славном будущем, о детских фантазиях и блажи.

Я прекрасно устроился дома. Денег мне хватало, чтобы на выходные при желании столоваться в московских ресторанах, и пускать пыль в глаза субъектам типа меня, тупо делающим бабки. Некоторым везет на хороших людей. К дряни липнет дрянь. В своем собственном представлении, третий калач, я мысленно костерил столицу: город трусливых, мелких гадилов, толкавшихся у корыта, где не хватало на весь десяток миллионов рыл, и где хитрить учатся быстрее, чем уважать людей...

Но все эти мстительные мысли были мыслями наоборот. Прошлое разрасталось во мне, как паразит, чтобы в подходящую минуту боль предательски вывернула меня наизнанку. Меня уже подстерегало будущее.

В конце февраля я отправился в Москву по неотложному делу. Дело то делом, но в столице я надеялся узнать что-нибудь о Курушиной.

В стране маячил призрак компьютерного бума. И теперь требовалось проворство, чтобы сорвать неправдоподобные барыши, и разогнаться по колее, робко накатанной другими.

В уютной конторе Ведерникова мы обсудили рутину сделки и перекуривали в короткой паузе перед расставанием. Роман Эдуардович утонул в роскошном, обитом кожей кресле. Он то и дело поправлял манжеты сорочки под рукавами добротного, шитого на заказ костюма, и его маслянисто-черные глазки довольно поблескивали. Ведерников относился ко мне по-отечески. Но, лишенный сантиментов, думаю, первым бы подтолкнул меня, кабы я споткнулся. Мы не лицемерили, и потому испытывали обоюдную симпатию.

– Как поживает Елена Николаевна? – спросил я, как мог спокойнее, и почувствовал, что краснею.

Ведерников изумленно приподнял густые брови и сморщил личико, еще больше ставшее похожим на мордочку мартышки.

– Я думал ты поддерживаешь с ней отношения! – ответил он баском, всегда казавшимся мне забавным при его щедрой конституции. – Она уже месяц болеет...

Во рту у меня пересохло.

– Что с ней?

– Говорят, пневмония после гриппа, и осложнения на почки. В нашем возрасте это опасно. Вам то молодым это трудно представить...

Я сломал в пепельнице окурок и выбрался из проклятого кресла: рука дважды сорвалась с подлокотника. Я припомнил соседку через дом, женщину лет пятидесяти: за три месяца соседка сгорела от воспаления легких, как соломинка.

Спустя двадцать минут, забыв в такси шарф, я семеня, бежал, прыгал вверх по ступенькам подъезда Елены Николаевны.

Дверь отворила сиделка или подруга – я видел ее впервые. Выдохнул: «Где?» Оттеснил даму – у нее было вытянутое, некрасивое лицо, с белыми волосками на подбородке, как вялый, проросший бородавками, картофель – и вломился в комнату.

Елена Николаевна спала, отвернувшись к стене, завешанной мохнатым ковром, бледная, почти прозрачная при скудном свете из-за занавески. Ее худые кулачки с зеленоватыми жилками под мраморной кожей покоились поверх одеяла, как у ребенка. Пышные волосы, примятые подушкой, темнели на белой наволочке. Кружевная рубашка с цветочками обнажала острое плечо и ключицу. Моя Елена Николаевна! Я опустился на стул рядом, как был в пальто нараспашку, уткнулся в ладони и замер. Сиделка недовольно кашлянула:

с моих полусапог капал талый снег.

– Выйдите, пожалуйста. Она только заснула! – различил я над ухом сдавленный клеткот, и с неудовольствием покосился на ведьму за спиной.

Мы вышли на кухню. «Ведьмой» оказалась подруга Курушиной, некая Волкова. Она подменяла Лору Дыбову.

– А почему сиделку не наняли?

– Не хочет! Теперь, Леночке лучше. А неделю назад мы все перепугались!

История болезни оказалась до ужаса нелепа. «Болела на ногах. Через неделю слегла с высокой температурой. Забрали в больницу, потому что некому ухаживать. Она ушла оттуда. Грипп дал осложнения на почки».

Я слушал и представлял больную в пустой квартире...

– Почему она не осталась в больнице?

– Вот и мы удивляемся. Ее же не в эти, простите, вшивники привезли. Саша распорядился в управление! А вы, извините, родственник?

– Д-да... Двоюродный племянник.

Женщина, прищурившись, с лукавинкой в опытном глазу, разглядывала меня сквозь сизое облачко сигаретного дыма. На ней был костюм канареечного цвета, на жилистой шее нитка жемчуга в три витка.

– Вас не Артур зовут? – иронично осклабилась дама.

– Артур.

– Очень приятно...

– Уже?

Дамочка прыснула. Затем показала, где лекарства, объяснила, когда принимать, и кому звонить, и, наконец, ретировалась.

Это было мое второе и последнее возвращение.

Елена Николаевна выздоравливала не спеша. Можно сказать, со вкусом. Она была так слаба, что я провожал ее в туалет или к умывальнику. Я прошел (надеюсь, успешно) стажировку повара, сиделки и домработника. По телефону я предупредил мать, что задержусь в Москве.

Товарки по инерции опекали Елену Николаевну. Но моя ревнивая недоброжелательность скоро уредила их визиты. Ни для кого не было секретом, что я именно тот субчик, и, вероятно, начну снова домогаться Лены, воспользовавшись ее слабостью. Как позже выяснилось, Дыбов пропал где-то за границей в длительной командировке. Иначе б мне несдобровать.

Почти месяц пространство ограничивалось для меня кубометрами квартиры и длинной обледеневшей тропинки к магазину и аптеке, изученной до мелких трещин в асфальте. Ведерников следил за торговыми операциями и испуганно отмахивался от меня, стоило мне появиться в конторе: мол, хлопочи о больной, а уж мы как-нибудь. Ни без семитского расчета.

Когда Елена Николаевна впервые вышла на балкон в шубе, шапке, рукавицах на собачьем меху, обутая в старые бурки, и укутанная сверху одеялом, я ощущал себя так, как вероятно ощущает себя родитель, после тяжелой болезни ре-

бенка. Дыхание весны, первая капель: все это, конечно, было. Но были еще и радостные глаза моей Елены Николаевны. В них разгоралась жизнь. Я поцеловал эти родные глаза. Она завертела по сторонам головой в шутовском испуге и проговорила:

– Тут же все видно!

Тогда я расцеловал ее холодные щеки.

Сразу после весеннего праздника Розы Люксембург вторично на моей памяти больную навестил наш общий друг Александр Ефимович Дыбов. В красный день, не желая портить настроения женщинам, грозный Цербер их общего царства теней, лишь ненавистно презрел меня. Самостоятельный же визит отца какой-то там отрасли производства был так же агрессивен, как вероятно, его муштра подчиненных. (От души им сочувствую!) Злой гений скандала, он и не подозревал об услуге, оказанной счастливым затворникам.

Елена Николаевна читала в постели. Сашок, походя, справился у нее о здоровье, кисло улыбнулся и, прикрыв двери, подбородком указал мне на кухню. За минувшие дни он, очевидно, достаточно вскипятил мозги на мой счет и в рабочее время (было начало четвертого) решил изобличить тунеядца.

Темно-синий двубортный костюм, солидный, как генеральский мундир, он носил ладно. На белой шелковой сорочке серел галстук, прямой и неброский, как изображение его обладателя. При наших, почти равных габаритах у ме-

ня было маленькое психологическое преимущество перед Александром Ефимовичем: домашние тапочки по размеру. А солидный муж, накаченный до сивой шевелюры злостью, натаптывал свои голубенькие хлопчатобумажные носочки на прохладном полу. Я хамовато и независимо опустил руки в карманы брюк, не менее добротных, чем костюм гостя.

– Послушай! – зарычал Дыбов. – У тебя есть совесть? Оставь несчастную женщину в покое. Она больна. Не будь подлецом! Ты же показал осенью, что способен на благородие и человеческий поступок...

– У меня нет совести! – честно признался я. Мы мгновение гвоздили друг друга взглядами, и мне показалось, сейчас две огромные кувалды кулаков под прицельной наводкой налитых ненавистью глаз начнут дробить череп проходимца в тщетном поиске там чего-нибудь, кроме кости и порока. Однако, воспитанный Дыбов отчаянным усилием воли – скорее всего он рассчитал, что при падении я наделаю много шума – заставил себя отойти к окну и видами весенней капли остудить свой гнев. Следующая реплика старого дурака настолько обескуражила меня, что кулаки в карманах сами разжались. Старый Скалозуб, номенклатурный барин ляпнул дичь из благих побуждений. И я простил его.

– Сколько ты хочешь... чтобы навсегда убраться отсюда? – предложил он.

– Ровно столько, чтобы я не видел тебя в доме моей жены! Дыбов резко обернулся, очевидно, решив, что мы говорим

о разном. Его брови все еще были сдвинуты, лоб наморщен, но губы обмякли в параличе изумления. Волны его эмоций двигались откуда-то снизу. Его взгляд промахнулся в миллиметре от моего плеча за спину. Я проследил траекторию. Лена слушала перебранку, укутавшись в накинутый на плечи халат.

– Саша, если ты приехал оскорблять Артура и меня, то тебе лучше уйти! – негромко проговорила она, и ступила к сигаретам на холодильнике.

Мы с Дыбовым проводили ее радугой взглядов. Он, ошеломленный, ждал немедленных объяснений. Я следил за ней с любовью и озабоченностью сиделки, самовластно решавшей, что можно и нет больной.

– Тебе... вам нельзя курить!

Лена по привычке подчинилась и села на стул.

– Лена, о чем он? Алексей ведь рассказывал, что Оксана...

– Артур говорит обо мне...

Дыбов тарасился на Лену и с трудом ворочал в мозгах неподъемные глыбы мыслей.

– Ты хочешь сказать?...

– Да, именно это я хочу сказать! – раздражаясь, оборвала женщина.

Бедняга Дыбов, он еще ждал опровержений, оговорок, объяснений. Но никто и не думал ему собить. И в плотном тумане недоумения Александра Ефимовича вдруг блеснула спасительная, все объясняющая пошлость.

– Да, ты просто выжила из ума, Лена! Чаше смотришь в зеркало! – прорычал он, привычно набычился, и свирепо поглядел на меня. Что ж, ему не возражали! Тогда он, натаптывая носочки, ринулся вон. Дверь хлопнула...

Казалось, за стариной Дыбовым захлопнулся вход в прошлую жизнь: вокруг нас зазвенела немая тишина. Я впервые по настоящему осознал себя взрослым.

Лена пересела на табурет у окна, обессиленная почти легла на колено и подогнутые локти, и закурила. Взгляд ее был ясен и спокоен. Она лишь разок едва заметно нахмурилась, вероятно, думая обо мне, так же, как я думал о ней: мысли влюбленных часто совпадают.

– Обмоем? – пошутил я.

– Как водится...

Передо мной в альбоме, раскормленном старыми и свежими фотографиями, цветной глянцевый снимок, яркое пятно минувшего среди нынешних пустыков. Четверо на ступеньках районного «Дома торжеств». Николай Иванович Кузнецов в парадном генеральском мундире, отблески золотой молодости на звездных погонах в красной окантовке прожитого, его жена Наталья Олеговна с серебряным ридикиюлем на цепочке через запястье, в волосах строчки времени в тон; и мы с Леной. Держим фужеры с шампанским. Пустая бутылка нанизана горлышком на мизинец свидетеля. Лена шутиливо тянет ко мне губы трубочкой. Я пальцем из-под фужера показываю, что нас снимают. Свидетели с радостным изумлением смотрят на мою жену.

Неужели был тот прохладный май, месяцы надежд и открытий!

...Дня через три Лена первой обратила внимание на замолчавший телефон. Никто не звонил. Мир затаился под окнами и за дверью, и настороженно прислушивался: что дальше?

Меня всегда поражала мобильность вербальной связи маленьких городов, либо некоего замкнутого сообщества, рассеянного по мегаполису. Пожалуй, лишь Ведерников благосклонно выслушал мое сообщение о свадьбе и приглашение

на скромное торжество. Его физиономия добродушно расплылась, а складки и морщинки сбежались к носу. Партнер перегнулся через стол и протянул мне руку.

– Поздравляю! Ай да, Лена! Она достойна счастья. Дер-
житесь! – и дружески подмигнул.

Недели через две позвонил дядя и нарочито вежливо попросил подъехать к ним вечером на телефонные переговоры с матерью.

– Пусть мама перезвонит нам, – сказал я.

– Ты же знаешь, она этого не сделает! – торжественно ответил родственник.

Опущу сетования матери, ее всхлипываниями в трубку под выжидательное подслушивание углов дядиной квартиры.

Приходили подруги Лены, якобы навестить больную, и зирк-зирк – расстреливали меня взглядами. Они даже не скрывали разочарования: «Двадцать восемь лет! Да она в своем уме?» Лена предприняла какие-то оборонительные действия, и визиты прекратились.

Мы, словно, присматривались друг к дружке в новом качестве, прикидывали: не произошла ли ошибка? Нет, не произошла! Каждый день открывал нам маленькие тайны.

В этом пункте повествования я намерен пренебречь вето, наложенным щепетильной русской словесностью на интимную жизнь. Нетерпеливых прошу обождать в нескольких абзацах ниже.

Так вот, до моего появления в доме, Лена после душа летом прогуливалась по квартире совершенно нагая: через балконную дверь принимала воздушно-сквозняковые ванны. Однажды я застал ее за этим: она не успела убежать из кухни в комнату и поплатилась. Мы принялись резвиться тут же, в коридоре.

Вообще мы занимались этим, не взирая на время суток. Читаем в разных комнатах, например, целомудренные отчеты классиков. Цветочки, бабочки, господа и дамы... И дамы! Я представил свою даму со скрещенными стопами на спинке дивана, макушкой к окну, чтобы больше света на книгу. А книга на животе. Дама, скептически скривив рот, двумя пальцами перебирает в розетке инжир (укрепляет сердце). В конце концов, вещает доктор во мне, для здоровья женщины мое назначение полезнее, чем сухофрукты. Том в сторону (почти в хижину), и я в гостях!

В наши медовые недели, я хотел ее ежеминутно, и уставал лишь, когда она уже не могла. А она могла всегда. Стоило мне коснуться ее руки, запустить ладонь в копну каштановых волос под заколками, которые она, в конце концов, благоразумно убирала при моем возвращении домой. Мы были пьяны счастьем.

Вначале, как бы мы не прятались за слова, мы хотели друг друга: это удел всех влюбленных. Много позже купцы и поэты, сосуществующие в человеке, как-то договариваются о пропорциях взноса в общие закрома, и пользуются этим

запасом в зависимости от того, кто сколько заготовил. А, в общем, это хмельное словоблудие от счастья. Что знает скупой разум о щедростях любви!

Лена же открыла другой мой секрет. Когда у нее наступали женские недомогания – дня четыре – меня приводил в исступление ее мягкий рот. Лена утверждала, что я первый мужчина, познавший от нее это удовольствие – ее несчастный прежний муж! Впрочем, мои бывшие знакомые одноклассники в сравнении с Леной отбывали номер по какому-то бездарному самоучителю. Она оставалась женщиной и моей женой даже в том, чего стыдливая поэтическая строка панически избегает. И будет об этом.

В приемной ЗАГСА из дюжины добровольных рабов Ги-менея, на нас обратила внимание лишь юная пара: я справился у ребят, где брать бланки. Двое меланхолично поискали глазами мою невесту, взглянули на спутницу в собольей шубе и с пышной прической, рассеянно озирающуюся. Для матери молода, для... впрочем, у них своих хлопот навалом...

Полная дама лет сорока любезно прочла нам краткое наставление «подумали-не подумали», изучила наши паспорта и быстро исподлобья посмотрела на Лену.

Нам дали два месяца на обдумывание и подготовку.

Выбор свидетелей, как выяснилось позже, определил участников праздничного банкета. Вернее: выявил отказников. О моих приятелях упомянули из вежливости. Друзья Лены отмалчивались. Одно дело, когда она устраивала чужое

счастье, другое – ее личная жизнь, на которую никто не решался открыто сплевывать свое мнение.

Иногда бойкот полезен. Можно не появляться, где не хочется, но где тебя знают. Но долгая изоляция угнетает. Я остался для друзей Лены чужим. А она, как не храбрилась, переживала наше отшельничество. Именно наше, а не ее. Чужой город, отсутствие друзей – это позволяло мне сосредоточиться на работе. Конечно, было обидно за жену. Уехать в какой-нибудь круиз Лена не могла: была еще очень слаба после болезни. Да и сопровождать ее я не мог: наше с Ведерниковым предприятие требовало усилий. За городом, в низинах, овражках и чащах дотаивал грязный снег, и лишь самые смелые дачники выбирались на ревизию заколоченных окон и дверей. До лета мы вынуждены были оставаться в Москве.

Генерал-лейтенант в отставке, Николай Иванович Кузнецов, и его жена появились кстати. Из-за хронического неведения на хороших людей, я не ожидал встретить в Кузнецове человека интеллигентного. Возможно, из-за этого недостатка он не дотянул до военного олимпа. Кузнецовы еще хорошо не устроились в Москве и навестили нас первыми. Они любили Лену и презирали всех, кто плохо отзывался о ней.

Даже в гражданском костюме Кузнецов выглядел генералом. (С высоты моего старшинского прошлого.) Солидный, уставно подстриженный, профессионально подтянутый, с жесткой линией рта, тяжелыми веками и упрямым

подбородком. Плюс широкий лоб в аккурат под генеральскую фуражку. Он напоминал актера Крючкова, но гораздо позже «Трактористов». Я ждал услышать «хе-хе-хе» водевильного Чеховского генерала. И вдруг за суровым обликом мягкий голос и веселое остроумие.

Генеральша, Наталья Олеговна, худенькая, глазастая, вечная девочка, напоминала Нэнси Рейган. Генерал никогда не перебивал жену, даже, если ей случалось увлечься, и слушал внимательно.

Вероятно, сначала Кузнецовы решили, что я дурак, а под конец остановились на мысли, что я очень хороший и славный человек, и воспринимали меня, как юного спутника Лены, своевременно оказавшегося рядом с ней, как и должно другу. Это определило нашу обоюдную симпатию.

Пока женщины сплетничали и похихикивали в соседней комнате, с Кузнецовым я чувствовал себя вполне комфортно. Между нами не было натянутости, обычной в кругу знакомых Лены. Генерал заполнял паузы замечанием наподобие: «Артур, взгляните за окно. Изгиб этой ветки напоминает спину сидящей собаки, а?» Разговор перетекал к деревенскому символизму ключей Марии, к слезе есенинской собаки и рубцовским размышлениям о дружбе человека и четвероногих.

Кузнецовы охотно согласились стать нашими свидетелями в ЗАГСЕ.

Любовь действовала на меня благотворно. Я стал терпи-

мей. Съездил домой и объяснился с матерью. Еще бы прошлым летом ее слезы и тихая истерика взбесили бы меня, но теперь я утешил и приласкал мать. Рассказал о невесте. Мать вздохнула и, наконец, решила: «Хоть последит за тобой!» Как сторожиха в школе. Ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной.

Я даже попытался помириться с дядей и позвонил ему. Дядя удивился и сказал: «Так ты заходи!»

Иногда я хотел обнять прохожего, угостить его выпивкой, и рассказать о своем счастье. Ведерников шутил, что теперь будет вести дела лишь с новобрачными. Мне везло. Наверное, потому, что неудача не огорчила бы меня. Року было не интересно забавляться тем, кому ничего не надо, кроме любви. Я улетал в командировки. Но не выдерживал разлуки с Леной дольше перегона таксомотора в аэропорт. Телефонные счета в гостиницах превосходили счета за проживание. Нырняя в работу, или бездельничая, я был счастлив. У меня была Лена.

Она расцвела и помолодела, и, словно оттачивала на мне мастерство обольщения. Новое платье, новая заколка в волосах или старая заколка, вдетая иначе, тысячи ухищрений, и никогда не похожа на себя накануне.

Казалось, вот он апогей любви. Но новый день разгорался новой радостью. Мы нарушили пропорцию счастья, бессовестно копили и копили его, и не боялись утонуть в его океане. Недоумевали, зачем обедняли свою жизнь разлукой,

уже забыв мучительную прелюдию любовного безумия.

Бывало, ночами мы переживали вслух минувшую зиму порознь. И готовы были бесконечно смаковать вариации сладкой фразы.

– Как я могла остаться в больнице? А если бы ты приехал?

– Я не мог не приехать. Я всегда знал это, даже когда думал, что хочу забыть!

Мы подъехали к «Дому торжеств» без четверти двенадцать. Золотые эполеты генерала отвлекли от нашего дуга внимание публики – три-четыре пары со свитами. По молодости я излишне преувеличивал значение мероприятия и волновался.

Метаморфозы во внешности Лены, к которым я привык, потрясли ее старых друзей. Мы съехались в разных машинах. И, пока Лена выбиралась из тесного салона, уворачивалась от карликовых сводов, чтобы не истоптать парикмахерский шедевр, Кузнецовы смотрели на нее во все глаза. Она была в светло-бежевом, тонкой шотландской шерсти костюме. Юбка чуть ниже колен открывала красивые ноги. Модные туфли в тон на низком каблуке, светлая блуза с люриксом и вышивкой ручной работы, бриллиантовые серьги и брошь, парфюмерия, все было продумано талантливым визажистом, косметологом и Кутюрье: моей женой. Куда до нее было белоснежным, инкубаторски-безликим новобрачным красавицам и их расфуфыренным гостям.

Саму процедуру помню плохо. Кажется, по незнанию мы пренебрегли рутинным правилом, по которому жениха и невесту разводят в разные комнаты, и оставались вместе, пока нас не вызвали. В отражении зеркал зрелую красавицу и рослого усача в черной тройке с золотой булавкой

в галстук сопровождали военный чин и миловидная женщина: четверо безмолвно направились к резной, белой двери в зал, со спокойствием посторонних на чужом торжестве. Некая пухлая мамочка совой хлопала глазами и недоумевала на странный квартет: а где жених и невеста? Новобрачная крашенная блондинка завистливым взглядом проводила бриллианты Лены. Мужчины в кружок, только что смеявшиеся, повернулись к нам и замолчали. Губы Лены надменно подрагивали. Во мне смешались неловкость оттого, что на нас смотрят и тщеславие.

Буро-красная с зеленой окантовкой дорожка поделила пополам мозаичный пол обрядового зала. Высокий, как в цирке потолок, и беленые стены, роскошная пластмассовая люстра и огромное панно с угловатыми символами семейного счастья: даже эти изыски советской безвкусицы казались мне значительными. Маленькая женщина в балахоне, в чем-то средним между вечерним платьем и русским сарафаном, выдержала паузу, ожидая гостей. Но в обширную залу вошли лишь четверо, и голос женщины зазвучал, как тайна для посвященных. В пункте казенной, заученной наизусть речевки, где вероятно было – «поздравим молодых», женщина запнулась и, заменила сочетание, на новобрачных. Так же были опущены абзацы о родительском благословении, о чем-то пошло-торжественном так и оставшемся для меня загадкой. Имя невесты тоже вызвало заминку – то ли называть по отчеству, то ли по-матерински, фамильярно. В абзаце о потом-

стве генерал переступил с ноги на ногу. Может, устал от своего влитого караула.

На ступеньках загса Лена шепнула мне: «Ты хорошо держался!» Я двусмысленно согласился: «За тебя!» – и пригубил из фужера. Мы дурачились, шутили: «Генерал, прикажи всем напиться!» – «Коля, думал ли ты, что будешь гулять на свадьбе с генералом!» Коньяк пили прямо из бутылки. Это был наш с Леной день.

В ресторан из шестнадцати приглашенных пришли Кузнецовы, Волковы и Ведерников с женой. Все единодушно напились, и процедуру «горько!» перенесли на улицу и к нам домой. Отсюда Кузнецов по телефону приказывал не явившимся на банкет, и на следующее утро я опомнился на даче, у каких-то Лимоновых, куда утроенная пьяная кодла рванула на машинах с ящиками водки и мясными припасами. Следующим вечером меня вносили на руках в опочивальню жены, а утром мы снова пьянствовали. Мы напропалую «тыкали», пели оды Лене и женщинам вообще, и мужчины, каждый конфиденциально, наставляли меня: «теперь ты отвечаешь за нее!»

Степенные дяди и тети, они бесились и танцевали, рванув вместе с нами на тридцать лет назад в свою молодость. стакан, рюмка или фужер, по вкусу, объединили нас. Мосты времени были сожжены, и вся компания Лены оказалась по одну сторону. При мне: их последнее единение.

Жену в эти дни помню смутно. Я знал: она где-то рядом,

моя, родная. От рождения и до смерти. Я взобрался на пик счастья, где сиял мой Бог в плоти.

– Я хотела, чтобы ты запомнил этот день! – в разгар веселья сказала Лена.

Я прикрыл ее губы пальцами.

– Тогда надо было пригласить на свадьбу лишь тебя и меня!

В середине весны мы с Ведерниковым, наконец, немного разбогатели, и я купил в Подмосковье сруб. Нанял рабочих, разобрал его и в короткий срок поднял вполне приличный двухэтажный особняк.

Деревенька Годуново выгодно отличалась от дачных, бесправных микрогородков средней удаленностью от Москвы и замечательной природой. (Железнодорожная ветка отстояла километрах в девяти по проселку.) Лес и речка начинались сразу за обширным, поросшим крапивой и лопухами, огородом. Лена была в восторге от этого затерянного уголка и с энтузиазмом принялась за его обустройство.

Первый месяц я безвыездно провел в деревне. Мне доставляло наслаждение, не свойственное моему возрасту, не спеша окультурировать землю примитивными сельхоз инструментами и ежесекундно знать: Лена рядом. Мы подлогу, как дети, сидели в траве, и, улыбаясь, смотрели друг на друга. Она носила ситцевый, в цветочках сарафан. Подбив подол между расставленных ног, и, облокотившись о колени, простоволосая, мечтательно подпирала ладонью подбородок и травинкой щекотала мое лицо. Пахло взрыхленной землей, дурманом помятой и вырванной травы.

Целоваться под открытым небом мы не рисковали. Вокруг нашего дома обосновалось четыре или пять московских се-

мей на таких же участках. Нас с Леной приняли за мать и сына. Не хотелось разочаровывать соседей. Но уже в доме мы давали волю воображению. Московская гаденькая суета, наши чопорные знакомые, все это мы вымели из памяти сухой тряпкой, как пыль, чтобы не разводить грязь.

После выездов в город, самым сладким для меня было возвращение. От мягко замершего мотора автомобиля, до сибаритства в плетеных креслах под тентом или под сенью яблонь (при доме, кроме огорода рос крошечный сад в несколько старых деревьев), колено к колену с женой. Пока я плескался под ржавым баком с нагревшейся на солнце водой (это замечательное приспособление мы отказались поменять на водопровод), столик в саду украшали суповница и кулинарные шедевры Лены.

В погожие жаркие дни мы ходили на речку, единственное общественное место в деревне. На узком песчаном пляжке у излучины собирались немногочисленные дачники и несколько подростков аборигенов. Помню ту скрытую гордость, когда Лена в открытом купальнике шла рядом со мной к воде, или я провожал ее взглядом вместе с отдыхающими. Она ступала короткими, быстрыми шажками, чуть разводя миниатюрные стопы, и поправляла под купальной шапочкой волосы. Ее светло-шоколадная кожа, умытая прикосновениями солнечных лучей, была упруга и маняща, как у красавиц из глянцевого журналов. У кромки воды Лена оборачивалась, прощалась со мной, пошевелив пальчиками, и реши-

тельно ухала грудью, сморщившись от брызг и не погружая лицо в зеленый омут протоки. Плавала она долго. Выбиралась из воды, не спеша, будто изучала под холодными струями округлые коленные чашечки. Ступив на песок, счастливая и томная, находила меня глазами, улыбалась и, расставив ладони, как это делают дети, изображая пингвинов, с все той же блуждающей улыбкой на губах шла ко мне, зная, что на нее смотрят. Она была моя от острых лодыжек, до матовых полосок кожи под купальником.

По соседству с нами на пляже обычно располагалось семейство: супруги и два разнополых подростка. Женщине было, самое большее, лет тридцать пять. Но ее дряблые, оплывшие жиром чресла, выпуклости и углубления! Я скорее отворачивался от этого буйства плоти. Ее муж, сухой, долговязый гражданин облизывал Лену плотоядным взглядом. Нас позабавило, когда однажды девочка, их дочь, подражая Лене, расставила руки и томно пошла из воды.

По другую сторону нашей усадьбы обосновались почтенные предпенсионеры. Некто Ганшины. Без знаменитой приставки Зи. Ганшихе перевалило за пятьдесят. Она была тремя или четырьмя годами старше Лены, костлява, и выглядела сущей каргой рядом с моей женой.

Надеюсь, читатель извинит мне сравнительную антропологию. Молодость придает значение не только содержанию, но и форме. А воплощенная гармония в близком человеке лишь усиливала восторг.

Ганшиха едва не накрыла нас. Вредная старушенция. Обычно она слащаво скалилась, и два ее верхних резца по-заячьи нависали над губой. Ганшиха картавила. Между собой мы передразнивали ее приветствие внукам: «Зд-га-а-встуй, моя гадость!» Да, так вот, Ганшиха имела вредную привычку: неслышно подкрадывалась к дому и заходила на открытую веранду без стука. В те времена глухие ворота на автоматических замках и злющие дрессированные людоеды были редкостью в России. Зная шпионские замашки старой карги, мы набрасывали крюк на двери, а потом ссылались на до или после обеденный сон. На этот раз крюк безалаберно освободили от сторожевых обязанностей. Лена как раз оседлала меня на полу в бешеной джигитовке, когда мы услышали: на веранде кто-то ходит. Жена швырнула мне полотенце, и одновременно натянула через голову сарафан. В приоткрытые двери показался крючковатый нос Ганшихи. Она скалила отвратительные клыки.

Практика стриптиза не прошла для меня даром. Из озорства я предстал перед дверной щелью в полной красе. И что же! – в щель послышался просительный, слащавый голосок бессовестной тетки. Старушечка захотела пертрушечки! Ее грядка еще не взошла.

Самое значительное событие того лета: нас навестила мать. В дверях московской квартиры я нашел записку от дяди – мама у него была уже два дня, – и вечером избавил родственников от бремени гостеприимства.

За городом, в машине я рассеянно слушал, кто жив – умер, и думал о Раевских. Они по одному подходили к окну взглянуть на моего новенького «меринка», редкость в первые годы пореформенной страны. И, полагая по их ехидным лицам, были уверены: ухватистый молодец выпотрошил старушенцию. От матери они слышали о моих предпринимательских успехах. Не без основания приписывали это связям Лены. Но в их мнении я так и остался циником и прохвостом. Плевать! У меня любимая красавица жена, работа, деньги. Я счастлив! Не будь Лены, мне не для кого было бы стараться. Впрочем, без нее я, возможно, делал бы то же самое. Женился бы по расчету, и злился на свое малодушие жить не так, как хочу. Лена заставила меня быть самим собой. Тем, кто ей нужен.

...Мать осторожно спросила о Лене. «Приедем, увидишь!» Лишь в машине я сообразил: свекровь моложе невестки на четыре года.

Лена ждала на веранде. Женщины от волнения долго раскланивались и пожимали руки. Через час они уже смеялись, и вполне по-семейному пили чай с бутылочкой «Столичной». А, когда я отправился спать, в полголоса обсуждали меня, как мудрые воспитатели непоседливого ребенка.

Мать гостила у нас две недели, и, прощаясь, расцеловалась с невесткой. Лена выписала ей какой-то невероятный рецепт засолки грибов. У машины мама шепотом наказывала:

– Ты уж не груби Елене Николаевне, как мне грубил!

Я вздохнул и улыбнулся.

– Мам, я люблю ее...

Чужое счастье притягивает. Соседи до сумерек просиживали с Леной в саду или на кухне: советовались, сплетничали. Не раз я слышал: «Хорошо у вас, Леночка, спокойно. И вы всегда веселая!» Сверстники считали ее много младше себя, называли только по имени, забывали, что она моя «мать». После нашего затворничества в Москве для Лены в деревне было раздолье.

Как-то к нам заглянули Кузнецовы. И остались на неделю. Уезжая, генерал долго не выпускал мою руку, подбирал слова.

– Ты... Я так и думал о тебе! – наконец, сказал он.

– Нет, Коль, ты думал найти беглецов, уже уставших от тихих радостей, – пошутила Лена.

Кузнецов смешался. Его жена по-свойски чмокнула меня в щеку.

С первыми холодами и распутицей мы вернулись в Москву. Медовое лето закончилось.

Два года. Семьсот дней вместе. Вступление к замечательной, бесконечной сказке. Если я возвращался поздно, и Лена, подложив под щеку ладошки, и укрывшись пуховым платком, дремала в кресле, я проводил по ее губам пальцами. Жена улыбалась и прятала мою руку у себя на груди.

Как-то ранней весной случайным жарким днем мы поехали за город кататься. Скорость была нашей общей страстью. Мы «выкладывали спидометр» за Кольцевой дорогой: я максимально разогнал машину. Бледно-голубое небо, словно выцвело за зиму. Автомобиль, радостно урча, пролетал предместья. Возле ельника мне захотелось передохнуть. Я отчетливо услышал негромкую просьбу вопрос Лены: «Остановимся?» – и свернул на подсохший проселок.

– Как ты угадал, что я хочу именно сюда? – удивилась и обрадовалась жена.

– Ты же попросила!

– Я только подумала...

Мы засмеялись.

Лишь люди отравляли нам жизнь.

В Москве жена занялась перепланировкой и обустройством квартиры. От Кузнецовых узнавала о знакомых. Нет-нет, созванивалась с друзьями.

Иногда я с Леной навещал их. Без энтузиазма. За два года

те лишь смирились с моим существованием.

Юбилей Лены (она неохотно называла цифру «пятьдесят», избегала отмечать дату) ее воспитанные друзья не пропустили. Даже самый непримиримый мой недоброжелатель, Дыбов, позвонил, чего он давно не делал, и осведомился – когда? Избежать торжеств не удавалось.

За праздничным столом в престижной харчевне собралась чиновная аристократия, человек сорок с детьми моих лет, наследниками сиятельных отцов. Упоминание некоторых имен и должностей у посвященных, вероятно, вызвало б придыханье.

Сначала некоторые гости приняли меня за персонального официанта именинницы. В дорогом костюме, вместо ливреи. Когда же любопытным пояснили мой статус, те презрительно пожимали плечами. Даже близкие нам Кузнецовы едва слышали о моей коммерческой деятельности, считали меня кем-то вроде домашнего секретаря Лены, и по советской привычке в шутку называли «спекулянтom». (Что в условиях раннего «русского капитализма» недалеко от истины.) Их сановитые знакомые поначалу держались того же мнения от растерянности и страха. Как же, ведь опрокинули корыто, встревожили их прогнивший хлев. Однако, позже, эти чиновники возомнили себя воротилами производства, организовали своим детишкам и женам-домохозяйкам, комфортные условия для операций, без риска собственными деньгами, и начали ломать об колено таких, как я, или поку-

пать у нас собачью покорность. Но это другая история...

Словом, окружение именинницы решило: не лакей, так Альфонс.

На перекурах я подходил с женой к старичью, и вымученный разговор барахтался меж двух-трех знакомых. Их дети, юные хамы снисходительно похлопывали по плечу Лену пошлыми комплиментами: «Тетя Лена, вы прелестно выглядите!» Кто-нибудь из сверстников с вежливой миной на физиономии протягивал мне зажигалку и, верно, думал: каждый устраивается, как умеет. Их близорукость раздражала и забавляла. Я встречал, занимал этих купчиков от номенклатуры, их сановитых домохозяек, недорослей-студентов и начинающих чиновных козявок. Все эти снобы пили и ели за мой счет, совершенно уверенные, что опустошают последние сбережения своей подруги, жалели ее и снисходили до меня, ничтожества.

Лена поощряла улыбками комплименты и переводила их мне в заслугу. Гости были любезны, но не желали замечать ее усилий. Тогда Лена перешла в наступление.

Некая дамочка неосторожно обронила: «Молодых мальчиков всегда интересуют невесты с приданным!» Возможно, реплика не относилась к нам. Но Лена услышала – к исходу торжества она была подозрительна и взвинчена – и язвительно ответила: «Как жаль, что некоторым не помогает и это!» Впрочем, стоит ли омрачать праздник коллекционированием мелких стычек.

Чествования едва не закончились скандалом. Мы с Леной возглавляли стол. Какой-то подвыпивший ублюдок из соседнего зала шепнул Лене что-то оскорбительное. Она с той же доброжелательной улыбкой, с которой наклонилась слушать, вlepила наглeцу пощечину. Приятель, было, замахнулся, и мой кулак перехватил Кузнецов. Дыбов кивнул и, наряд милиции, уволок в наручниках озорника, по-моему, вместе с друзьями, столиком и скатертью.

Узкий круг друзей снова пьянствовал у нас дома. Но теперь мы с Леной переживали веселье. Я вспомнил ее печальное пророчество два года назад, осенью перед разлукой – мы действительно были одиноки.

Между тем, у меня появились свои знакомые.

Павел Омелянович, шеф вновь образованной дочерней фирмы нашего предприятия, парень лет тридцати, симпатичный блондин с университетским образованием. Он никогда не грубил подчиненным: «они не могут ответить мне тем же». Но в делах был напорист и тверд. Я был прямолинеен с людьми, Павел – обходителен. Он терпеливо объяснял мне тонкости сделок. Мы пропадали на работе допоздна и подружились. Ведерников рассказал Павлу о нас с Леной. Омелянович раза два приглашал меня с женой в загородный дом. На выходные мы, наконец, навестили коллегу.

В тот день Лене не здоровилось. Вечернее головокружение – за месяц приступы участились – утром прошло, но жена была подавленна и сварлива. Она настояла на поездке, полагая, что свежий воздух взбодрит ее.

Местечко находилось километрах в сорока от города по Варшавскому шоссе, в соснячке, у крошечного, но глубокого озера.

Дорогой Лена несколько раз просила остановить автомобиль – ее укачивало, но не выходила на воздух, и мы продолжали путь.

Было еще прохладно. Но из каприза жена надела чудовищную желтую блузу с глубоким вырезом на спине и гру-

ди, и немыслимую ядовито-синюю юбку. Я мирился с этими странностями. Иногда Лена приходила ко мне перед сном и долго лежала щекой на груди, о чем-то думала и вздыхала. Потом вдруг шепотом горячо, почти истерично просила прощения и повторяла: «Ты не бросишь меня, когда я совсем состарюсь?» Что я мог ответить на ее глупости?

Мы сразу нашли новый деревянный дом Омельяновичей в два этажа с двухскатной стилизованной крышей и участком, облагороженным ландшафтными дизайнерами. Вокруг громоздились страшные трехэтажные терема из красного кирпича, похожие на казармы или административные корпуса времен Николая второго, коими с невероятным проворством захламили Подмосковье новые русские зодчие.

Когда Лена выходила из машины, я запомнил мгновенную оторопь ребят. Они увидели пожилую, желчную женщину, бледную, с заострившимся носом и розовыми безобразными пятнами на открытой груди и шее. Я едва не ляпнул: «Лена не здорова». Омельяновичи уже улыбались и пожимали руки. Но мы с Леной не могли забыть первое впечатление.

Жена весь день играла с детьми Омельяновичей: мальчиком лет семи и девочкой трех лет. Ходила к ним на чашку кофе в полиэтиленовую палатку у разлапистой елки. Укладывала с льнянокосой крошкой таких же льнянокосых пупсов, перебрасывалась с детьми разноцветными тарелками из пластмассы, играла в прятки. Иногда Лена останавливалась и пережидала дурноту...

Мы ходили на озеро. Обедали.

Под вечер, помогая хозяйке, длинноногой, флегматичной прибалтийке в обтягивающих джинсах и в рубашке навыпуск резать помидоры в салат, Лена сказала с внезапным раздражением: «Милочка, ну что же вы режете такими ломтями! Это же не арбуз!» Мы с Пашей на веранде у распахнутого окна, в креслах качалках потягивали коктейль. Я покраснел. Павел невозмутимо закурил: арийское лицо, стрижка под полубокс.

– Ничего, в ее положении это бывает, – сказал парень.

Я недоуменно уставился на него.

...Возвращались мы поздно вечером. Машина гналась за овальным полукругом ржавого света по стремительному потоку асфальта.

– Артур, останови, пожалуйста!

Я притормозил. Вокруг чернел лес. Над лесом со стороны города светилось небо.

– Тебе было стыдно? – спросила Лена.

– Ты о чем?

– Ты знаешь!

– Ты была у врача? Может, это... ребенок?

Она хмыкнула и отвернулась.

– Милый мой мальчик! Ты же знаешь, у меня не может быть детей. Это женская старость!

Мое сердце болезненно сжалось.

Лена ошиблась.

Произошло одно из невероятных медицинских исключений. Мы никогда не предохранялись. Лена убедила меня: последний аборт, на котором настоял ее прежний муж, стоил ей бесплодия.

В тот вечер две радужные волны переклестнулись в высшей точке. Разговаривая с богом то сладкое мгновение, о котором знает каждый мужчина, я расслышал громкий стон, почувствовал судороги жены, и успел подумать: «Будет ребенок».

Мы заговорили о малыше лишь однажды. Праздно. И отгородились от темы привычным и удобным «опасно для ее здоровья»! Любовь к женщине и мужской эгоизм – соседи. В двадцать три года я не испытывал радости отцовства к еще не родившемуся человеку.

Лена вернулась из консультации с категорическим заключением специалиста. Точнее, двумя заключениями: первое – невероятно, но факт! Второе – немедленный аборт, иначе ребенок, или мать и ребенок умрут.

Жена сидела в темной кухне у открытого окна. По ее торжественному молчанию я понял: она будет рожать. Подсел на табурет, и присоединился к внутреннему созерцанию себя в новом качестве родителя. Возможно, мне положено было

прослезиться, прикинуть ухом к чреву жены и вслушаться в далекую поступь нашего будущего. Но это была моя Лена, другой не будет! Ребенок убил бы мою жену, а ее жизнь я ценил много больше своего отцовства. Я промямлил что-то об опасностях и трудностях, и положился на естественную мудрость природы. Если уж высший разум predetermined будущее, то опасно мелочиться с ним в настоящем.

Лена была на одиннадцатой неделе беременности. На следующий день после консультации у врача я отвез ее в Годуново.

Вокруг дома разросся цветник, ухоженный Леной. Флоксы, георгины, розы, кусты сирени, гиацинты: названий многих растений не знаю до сих пор. Из-за этих клумб Лена пренебрегла предостережениями врача: «не уезжайте надолго из города». Она полагала, ребенку будет полезнее в деревне, нежели в душной Москве.

Вечерами Лена сидела на стульчике у крыльца и прислушивалась к себе. Заметив меня в саду, улыбалась как-то особенно, словно, теперь улыбалась троим. Перед сном я скептически смотрел на ее живот, не находил изменений, и задавал глупейшие вопросы.

Медицинские консультации были не утешительны. Специалисты сетовали на возраст Лены, всевозможные опасности. Я тихо бесился. Без их внушений, грядущие роды все больше и больше пугали меня. Жене я снисходительно улыбался, как многодетный отец: мол, пустяки, все рожают...

Лучше бы они посоветовали, как уберечь Лену!

Она легко, сравнительно со слышанными мною ужасами, переносила беременность. Две недели ее держали на сохранении, и это приободрило нас.

Первой заподозрила неладное Ганшиха. Она зачастила к нам, и, как-то ощупывая глазками располневшие бедра соседки, пролебезила:

– Свежий воздух вам на пользу, Леночка! – Она присела на табурет возле веранды. На старухе «висел» неизменный сарафан. Из-под косынки торчали пегие волосы, схваченные резинкой в жидкий хвост. – Что-то вы на речку не ходите...

Лена отшутилась.

Но через неделю Ганшиха проявила настойчивость.

– Вы не боитесь отпускать его одного? В этом возрасте молодежь развратна!

– Он уже взрослый! – ответила мнимая мамочка.

– Как бы он не оставил вас в вашем положении. Вы ведь уже не молоды!

Лена нахмурилась – старуха доброжелательно щерила длинные зубы – и не решилась грубить.

По деревушке пополз слух, и как-то щедушный сосед, муж полной дамы с пляжа, встретил меня у калитки и доверительно сообщил:

– У вашей жены сегодня был обморок. Моя жена присмотрела за ней...

Я влетел в дом. Лена на кухне консервировала огурцы.

– Что случилось? – выпалил я, и пересказал слова инженера.

– Пустяк. Обычное дело...

Я обнял ее, и вспомнил – сосед назвал Лену моей женой.

Где люди, там сплетни. В строчках нашей биографии всегда найдется фраза, написанная чужой рукой. Последние дни злосчастного лета мы снова чурались окружающих.

Это произошло в начале сентября в субботу. По закону падающего бутерброда – маслом вниз – я отогнал машину в сервис на профилактику, и от станции взял такси.

Лена весь день бодрилась, и, хотелось думать, чувствовала себя сносно.

Ночью меня разбудил сдавленный стон. Я выпрыгнул из постели. Свет – можно было читать – полной луны, древней спутницы кошмаров, через раму налип на пол серебряным квадратом. Предметы окрасились в матово-бледный цвет. Лена в широкой ночной рубашке, закрыв глаза, скорчилась у окна и подогнула босые ноги под стул. Волосы темными струями рассыпались по спине и плечам. На ее лбу блестели крапинки пота.

– Что? – прошептал я.

– Болит... – она едва пошевелила губами.

– Почему не разбудила меня?

– С вечера болит...

Я включил электричество. Лицо Лены было землистым, темные круги под глазами, губы, искусанные в кровь. Побелевшие руки с зелеными жилками держали живот, словно оттуда что-то вываливалось. Натянув джинсы, я побежал к приятелю-автолюбителю через два дома. В голове вертелось: «Ведь еще рано! Ведь...»

Здоровенный кобель рывкнул, и узнал меня.

Митрофаных, неповоротливый старый тюфяк, долго копался и кряхтел. Я едва не вынес двери, когда он, наконец,

подобно своему Шарику рывкнул: «Кто?» – и появился на пороге в берете, даже в жару, чехлившем лысину. Еще чумной после сна, сосед соображал, про какую жену я говорю.

– Дорогой додумаешь, батя! – почти силой вытащил я Митрофаныча к гаражу.

Его старый «Москвич» козлом скакал по ухабам проселка. Одной рукой я сжимал мокрые ладони Лены, другой – плечо водителя. Тощий табун под капотом машины, хрипел и выбивался из сил. Проклятая глухомань! И я – осел! Увез Лену за город и тем приговорил к смерти ее и ребенка!

В Москву мы въехали на рассвете. Поливальные машины клином мыли тротуары. Лена у меня на коленях съежилась, подогнула ноги и тихо стонала. Вена жгутом проступила на ее горле. А я ничего не мог поделывать, здоровый и сильный, кроме беспомощного: «Быстрее, быстрее...»

По приемной мимо нас неспешно ходили полусонные санитарки с пробирками свежего гематогена и баночками еще теплой урины, дежурный врач в мятом колпаке, с красными глазами и стетоскопом на шее – «молодой семье из двух человек срочно требуется комната с удобствами».

Медсестры едва ли не унесли Лену, обмякшую на их руках. Минуло не более пяти минут, как мы вошли в больницу.

Митрофаныч, осоловелый, в мятых брюках и в майке на бретельках, со всклокоченным над ушами седым пухом, поигрывал ключами.

– Позвони кому-нибудь, пусть лучше устроят ее!

На топчане он облокотился о колено, и глядел исподлобья: когда же это вы сподобились?

Я помнил телефоны Ведерникова, Павла, Дыбова и Кузнецова. Первый отдыхал на юге. Второй был в командировке...

Уже через час по телефону дежурного врача Дыбов с кем-то договаривался, исчезал и снова появлялся с персоналом. Наконец, он сказал:

– Они все сделают!

Очнулся я дома. Страх за Лену и бессонница развели мысли в жидкую кашу. Дыбов и Кузнецов хозяйничали на кухне. Их «бу-бу-бу» наполнило квартиру. Два старых друга Лены заставили меня позавтракать и выпить коньяка, чтобы взбодриться.

Помню раздражение в бесцветных глазах Дыбова, маленьких, как у сердитого бегемота, и отчуждение отставного генерала. Они разговаривали со мной принужденно, старались не смотреть. Я едва не убил близкого им человека.

Наконец, Дыбов сорвался. Он заходил из угла в угол:

– Сопляк! Сопляк! Тебе же говорили, ей нельзя!

– Оставь пацана! Он сам не свой! – вяло защищал Кузнецов.

Но мне было плевать на обоих. Я думал о ней.

Беда буднична. В двадцать три года я еще не пережил смерть близких. И не знаю метафор, чтобы передать ужас за Лену. Говорят, нет ничего страшнее смерти. Ложь. Страш-

нее смерти, мысль о смерти родного человека! Еще страшнее собственное бессилие перед горем. Лена, моя родная Елена Николаевна была одна в больнице, наедине с болью и страданием, а я ничем не мог ей помочь.

Кузнецов отвез меня в больницу. Мы были там до вечера. Потом призрак в белом халате сообщил «преждевременные роды, Кесарево сечение, ребенок умер, женщина жива» и исчез.

Два дня, две недели, два месяца, или два года...

Я увидел ее спустя вечность.

Белые стены, зашторенное окно, подогнутая на батарею занавеска с розочками на белом, широкая деревянная кровать, капельница – перевернутая полупустая банка с жидкостью, по другую сторону железное, трубчатое, электронное чудовище, хранившее ее жизнь в холодных внутренностях проводников, клем и проводов. И что-то крошечное, сморщенное среди подушек и одеяла, словно в кучке золы робко съежился маленький труп. Знакомый, прозрачный овал в темном обрамлении волос с глубокими синими кратерами глазниц. В нее закачивали жизнь. Это была моя Лена!

Ее веки задрожали, разжимая тиски беспамятства. Лена открыла огромные мутные глаза. Узнала меня, и опустила веки.

– Посидите, но не разговаривайте с ней...

В комнате еще кто-то был.

Она жива!

Я присел на мягкий стул, и осторожно коснулся бледно-прозрачной руки, холодной, как ледышка. От капельницы к ней тянулась бесцветная кишка, и исчезала под белым пластырем на сгибе локтя. Ее ледяные пальчики затрепетали и, слабые, сомкнулись в моей ладони. Забирай мое тепло!

Пусть моя жизнь втекает в тебя днем и ночью вместе с хитроумными медицинскими препаратами. Я жил ею, жил ради нее!

Все два долгих месяца выздоровления Лены мы ежедневно виделись с Дыбовым в больнице. Иногда молча курили на скамейке в больничном сквере. Он привозил лекарства, деликатесы с мудреными названиями в пестрых банках и коробках. Сразу грубовато предупредил, чтобы я не заикался о деньгах. Даже когда он криво ухмылялся – его физиономия становилась, как у Держиморды, с редкими и глубокими, словно вырезанными ножом, морщинами; выбритый до синевы подбородок плавно переходил в багровую шею – и тогда он ненавидел меня. Пожалуй, он чуть больше доверял мужу своей первой любви: «Я поехал! Присматривай за ней!» Кузнецов тоже навещал Лену.

Как же они держались друг друга! Я, не любивший никого, кроме этой женщины, не веривший никому, завидовал их дружбе! Вместо доброй улыбки у меня – саркастическая ухмылка, вместо утешения – злоба, вместо шутки – язвительная издевка...

Вот все убогие приобретения за двадцать три года! Ничего доброго в душе! Так что же человеческого во мне сохранится дальше? Друзья любили Лену и прощали ей сумасбродства: она жила, забыв о времени и возрасте. Но они не желали понять и принять человека, которого она любила. И любила ли? Может, я всего лишь предлог ее бунта против вре-

мени?

Зато, я люблю ее! И это единственное мое оправдание!

В конце сентября Лена начала поправляться. И Дыбов разоткровенничался.

Прохладный ветер носился по аллеям сквера, кувыркался в кучах опавшей листвы, подбрасывал пучки сухого гербария, и разглядывал мертвую анатомию листьев через бледный солнечный рентген.

– ...ведь была настоящим гадким утенком! Это потом расцвела. На факультете за ней ухлестывал каждый второй! Все по-своему делала... – слушал я исповедь мужика – от переживаний в его голосе появилось что-то брюзгливое, бабье – и вспоминал наше с Леной тяжелое молчание, и ее оживление при друзьях. На душе было пусто. – ...появился в рубашке с петухом, вышитым на кармане. А мы не то, чтобы застегнутые по горло... – перешел старик к первому мужу Лены. Для Дыбова я был уже товарищ по несчастью, отвергнутый любовник...

Как-то под Одессой мы с Леной забрели на безлюдный пляж. Далеко вперед между морем и лиманом желтел пустынный берег. В десятках метров от нас скучились отдыхающие. Мы, беззаботные, ворвались едва ли не в их центр. И оторопели. Шумел прибой. Кричали чайки. В шезлонгах, на пледах сидели старики инвалиды с култышками вместо рук и ног. Совершенно чудовищные увечья. Их глаза! Старички смотрели с ненавистью, завистью, укором на нас, здо-

ровых и сильных. Рядом был пансионат для инвалидов. Подавленные мы скорее ушли.

Такое же ощущение несвоевременного прихода испытал я у койки жены. А друзья воспоинали, смеялись...

– ...Почему она так поступила? Ведь не могла же она действительно любить этого шалопая. Из упрямства, из привычки все делать наперекор... – Но сколько раз я перехватывал ее обожающий взгляд, замечал в ее глазах слезы: «Это слабость, дружок!» Она уже решила мое будущее из любви ко мне, для моего блага. Лена, я давно перешагнул двадцать восемь лет, отделявшие нас, прожил твою жизнь и получил в наследство твое прошлое. У меня нет – своего! Набирайся сил. Ты слаба и беспомощна. А затем я поборюсь за любовь... когда на свадьбе она танцевала с ним, я думал, сейчас подойду...

– Это признание в любви моей жене, Александр Ефимович? – перебил я.

Дыбов недоуменно и сердито посмотрел на меня, словно только-только заметил, и побагровел. Он не умел краснеть, но багровел.

Потом я остался один. Плевать на старого Ромео.

Чем же взяла меня эта женщина? Люди хотят быть любимыми и любить. Но чаще – хотят получать больше, чем дают. И надоедают друг другу, устают от обмана. Сентиментальная бабушка жила по своим законам: любила сколько и как хотела, ничего не требуя взамен. Так любят детей родители.

ли. Если социологи правы и год нынешнего столетия по интенсивности равен всему прошлому веку, то я был одинок не сто лет, а целых две тысячи. Уйдет Лена – я стану пляжным инвалидом. Оглянитесь! Сколько вам? Тридцать? Сорок? Восемьдесят? Вас много: юных, старых. Много ли в вашей жизни встретилось попутчиков, с которыми вы не замечали бы дороги? И как вы обошлись с их любовью? А ведь многие так и умрут, не любя! вспомните, как было тошно вам! вспомните! И тогда вы поймете чужую боль! Только забудьте озлобленность, обиды, желание доказать, наказать, умение драться, пугать...

Не было бы Лены, возможно, я отдал бы сердце другой женщине. Но судьба наказала меня любовью к ней!

Лену выписали в конце октября. Рецепты, направления. До болезни жены об иных медицинских специальностях я ничего не слышал.

Она изменилась! В больничной палате, в специальном белье, Лена, словно была частью интерьера. В воображении я любил иную женщину, из благополучного мира за стенами клиники. В квартире на диван опустилась другая Лена. Ее лицо осунулось и сморщилось, а ото лба к затылку нырнула седая прядь. Подкрашенные губы ярко алели на бескровной коже. Глаза потускнели, а вокруг – старость раскинула грубую паутину. Лена без улыбки слушала мою болтовню о выздоровлении, планы на праздники и читала в моем взгляде растерянность и страх. Смерть ребенка что-то надломил в нашей жизни. Как в кошмарном сне, где поступки не логичны и пугают, Лена уходила в серое ничто, я кричал, а она не слышала. Я готовился протестовать, бороться. Но с кем? Любовь никто не отнимал. Ее словно поделили, как наследство: вот тебе, а вот мне...

Я пытался справиться с отчаянием, доказать себе, что наша жизнь наладится. Но разум восстал против обмана.

Высшее, что находилось над нами, вопреки всем законам подарило нам ребенка. Мы думали: чтобы связать нас. А смерть вернула привычный порядок вещей – иллюзию бес-

смертия творят сверстники. Смерть не дала глумиться над жизнью! Нас предупреждали о беде. Маловер, я презирал мудрость поколений. И, бессильный, теперь смирился.

Я даже не намекнул Лене о своих мыслях. Ее покой был смыслом моей жизни. Но как же мы чувствовали друг друга!

Наступила наша четвертая зима. Лену добросовестно лечили: один спец направлял к другому. Я вникал в медицинские термины, в шипящие и свистящие диагнозы. Но, ни одна кардиограмма не определила бы истинную причину болезни жены: пустоту в ее сердце.

Мы вернулись с прогулки. Морозный иней застрял в шерстинках ее шапки из соболя. Щеки разрумянились. Я помог ей раздеться и клюнул губами в холодный рот. Она увернулась и пошла к себе. Ей надоела моя нежность! И тут эгоист во мне взвизгнул: «Я ведь человек! Мне больно!»

– Что происходит? – Я встал на пороге ее спальни и от волнения осип на последнем слоге. Начались вариации: «А что? – Я же вижу! – Что видишь?» Тут я благоразумно заткнулся.

– Ты хочешь от меня отделаться?

Лена печально взглянула на меня, обняла за шею и спрятала лицо на груди. Я бормотал о своих сомнениях, она отрицательно кивала, и, наконец, закрыла мне рот ладонью.

– Я уже не женщина! – прошептала она. – Не женщина!

Лена высвободилась из объятий и ушла в ванную. Я с дивана наблюдал меж занавесками снежинки, торжественно

скользившие вдоль стекла.

Дверь отворилась. Я обернулся. Темная полоса прихожей. Шире, еще шире, словно сквозняк протискивался в комнату...

Жена стояла нагая, придерживая распахнутую створку. Лишь в разгар наших безрассудных игр она не стеснялась меня.

Я пишу это, чтобы вы поняли, чего ей это стоило!

Матовый свет ночника. Я едва узнал Лену. И, если бы не был уверен, что мы одни в квартире, то изумился, откуда здесь это тщедушное и жалкое существо. Дуги ребер. Иссушенные болезнью ноги. Вислая грудь. Страшный рубец изуродовал живот, выпуклый, как у больных рахитом детей. Я не мог отвести взгляд от узловатого шва, розово-бледной борозды, вспахавшей плоть. Прозрачное лицо без косметики обрюзгло и побледнело, словно старость в одночасье потребовала у жены бессрочный кредит. Лена полураспяла себя правой рукой на двери.

Я опомнился и встал. Но Лена отступила в темноту и закрылась в ванной.

Затем, она вернулась, позволила поцеловать себя и сказала:

– Это начало. А тебе всего двадцать три...

Она прикрыла за мной двери и выключила ночник.

Наступил високосный год. А в феврале умерла жена Дыбова. Внезапно. На операционном столе. У Лары нашли опухоль в желудке. Что-то выковыривали и что-то задели. Еще осенью думали – язва...

Смерть, глухая, без крылатых рифм, замахнулась своей ржавой литовкой на мою жену, а угодила рядом. Вот, так!

Пока мои сверстники на цыпочках, вытягивая шейки, заглядывают в будущее, в мечтах всегда ласковое, без пятнышка, я озираюсь назад, и ничего не вижу, лишь клин юности, а по сторонам... а по сторонам все те же больные, уставшие старики, едва шевелят мозгами, шипят свои пергаментные речи, болтают о болячках. И авангард их уже там...

Жизнь, житуха! Ломаешь, подминаешь сильных и слабых, гордых и униженных. Мать в тридцать учила: «Никому, никогда ничего не рассказывай!» Ее мать, мою бабушку, в юности угнали в Германию. После репатриации она даже не упоминала родной город. Этимология страха. Сосед через дом, забулдыга, клянчивший у прохожих на водку, грязь подзаборная, приспособление для пенделей от пацанов, пустое место, взял и повесился. В уборной. Не захотел марать комнаты, куда после него поселят правильных и благополучных. Говорят, в его убогой, пустой квартире – он пропил даже плитуса и внутренние стекла на окнах – был лишь отрывной

календарь. И на листе смертного дня нацарапал окровавленным ржавым гвоздем, валявшимся рядом: «Жизнь дерьмо!» Кто-то скучно заметил пропажу юродивого. Где! где был его предел?

Где вы мои спившиеся дружки? С вами всего шесть-восемь лет назад мы горланили под гитару на ломаном английском хард-рок, дрались на дискотеках, влюблялись, страдали, мечтали, кто о тачке, кто о принцессе в хрустальных шусах. Трепались о смысле жизни, не по корчагински, а с портвейном «72» в лесопосадке. Уже тогда догадывались о правоте Екклесиаста и плевали на все. И как бы интеллектуалы не втемяшивали нам, обычно задним числом, о своей продвинутой юности, о гениальных откровениях – не верю! В двадцать только учишься сострадать! Учишься на своей шкуре! Ведь сказано кем-то: не постигнешь синего ока, пока не станешь сам как стезя. Это единственное, что делает нас людьми! Ведь их действительно мало с опытной душой, кто бы ни спрятался в корабельный трюм, именуемый у поэта кабаком, когда совсем плохо.

И все же, как ни ломал, не подминал меня этот город, я пишу эти строки. Мне по-прежнему больно, по-прежнему кого-то жаль. Хоть того же Дыбова и его несчастную жену.

Я мало знал Лару. Лучше – ее мужа. Точнее, чаще встречался с ним. И всегда презирал его умение оттаптывать ноги ближним, не замечая этого.

С весны, после смерти жены, он появлялся у нас ежеднев-

но. Почему у нас, я понял позже. У него были дети. Он мог прислониться к ним с их общей бедой. Тогда, по-человечески я сочувствовал ему. Притихший, растерянный человек, словно, с разбега споткнувшийся о ровное место. Он никогда не подавал мне руки, кивал, глядел куда-то мимо, и оживлялся лишь при Лене. Они долго просиживали на кухне. Если мне случалось беспокоить их, жена неохотно отвечала, или молча курила, пережидала мой приход. А Дыбов, прямой, как спинка стула, что-то высматривал в окне. Я скорее убирался вон.

Какие у нас были взаимоотношения с женой? Да, никаких! Помните ее дневник? Нет, нет, я не собираюсь переписывать ее рефлексии. В памятную зиму раздора заметки на страницах ее тетради напоминали мое угрюмое настроение. А позже, в отличие от меня, Лена оказалась талантливо лаконична, и за три года в дневнике появилась единственная запись: «Я счастлива!»

Десять графических знаков вместили три года нашей жизни! Мгновение, за которое взгляд пробегает запись! Задумайтесь: три года в десяти знаках! Некая астрономическая величина удельным весом выше знаменитых черных дыр.

Потом Лена снова заговорила с бумагой, с Дыбовым. Но не со мной...

Вот ее впечатления. Их немного, чуть-чуть. Прочтите! Вот отсюда.

«Меня превращают в вещь. За этой вещью ухаживают, за-

ботятся. Я одна из многих вещей, которыми обставлен его быт. Такое положение тяготит его. Мы никуда не выходим, потому что я, развалина, обуза, ему со мной стыдно.

На днях случайно слышала телефонный разговор. Нас приглашали в гости. Артур сослался на мое нездоровье. Я бы действительно не пошла, но он не обмолвился об этом звонке.

...Прежде я не обращала внимания на его упрямство, стремление во что бы то ни стало получить то, что ему хочется! Касается ли это его работы, отношения к людям. Он, безусловно, любит, уверен, что делает мне во благо. Но я его визитка: видите, я прав! добился своего вопреки всем и всему!

Сейчас вспомнила разговор с Ромой еще год назад. Артур улетел в командировку. А мы поехали смотреть дом в Купавне. Продавался срочно. Рома тогда со свойственной ему иронией обронил, если бы я знал твоего мужа в день, когда ты его привела, сбежал бы в Америку! Спросила, почему? Скоро мы все будем работать на него. Я засмеялась, приняв это за комплимент энергии Артура. А Рома добавил: он шагает через людей!

Я слышала те же отзывы от других. Привыкла. Не обращала внимание. Но Рома относился к Артуру хорошо и вдруг!

Дом не купили. Приличный дом. Рядом озеро. Артур сказал, дешевка! Жаргончик все тот же! И здесь, как выскочка, пускает пыль в глаза.

Когда-то я считала это забавным. Но он взрослеет, и его невинные привычки превращаются в дрянной характер».

Да, да, припомнил случай с Пашей. Глупый, дурацкий. Этот случай рассорил нас с Ведерниковым. Ни Павел, ни Лена знать о нем не могли! Ведерников не болтлив. Паша тогда оказался загружен по уши, и передал мне ребят из какого-то комплекса «Досуг». Они просили, как теперь принято говорить, крышу. Проценты от сделки и от доходов, бесспорно, полагались Павлу. Я разрулил. И тут мы с Ведерниковым уперлись о доле Омельяновича. А Козлевичу? Мы с Пашей были приятелями, на сколько возможно, когда речь о деньгах. Меня перемкнуло. Давай бабло, давай! – с гнусавой интонацией богатого быдла. Обманывал себя: это для Лены! А это была жадность. Теперь противно и тошно!

Тогда то Ведерников вне работы начал избегать меня.

У меня две личины. На работе я высокомерен, почти жесток, нетерпим. Держу дистанцию с подчиненными. Только страх и дисциплина мобилизуют людей. Иначе все пойдет прахом. Мне казалось, по возвращении домой я оставляю хлопоты дня в прихожей, как забрызганное грязью пальто. А грязь пачкает. Лена первой заметила перемену во мне!

Вот еще:

«...Он отправился на похороны, как на встречу с врагами. Он ехал не провожать человека, не причинившего ему зла, а ехал из приличия. Он так дорожит приличиями!

Когда опускали гроб, он рассматривал даты рождения

и смерти на соседних плитах. На кладбище он всегда высчитывает, кто сколько прожил. Пожалуй, Саша его интересовал лишь в одной связи: Артур пытался угадать по лицу Дыбова, сильно ли тот страдает. Не зная о том, он получал удовольствие от горя Саши.

Безусловно, Лара чужая ему. Если бы хоронили меня, он бился бы головой о мерзлую землю, жалел. Жалел свое одиночество. Но ведь должно же быть в нем хоть чуть сострадания к близкому мне человеку. К покойной.

Потом собирались ехать к Саше. Артур назначил важную для него встречу еще за месяц до несчастья. Без конца говорил о ней. Он не мог (и не хотел!) отменить ради...

Я сказала, доберусь сама, езжай. Он не спорит, а дотошно убеждает. Нудный дятел. Теперь к этому добавилась подозрительность, что я отучаю его от себя. Неужели трудно понять, я не оставлю Сашу в такой день! За нами годы, он мой друг! Но ведь Артур меня любит! Он «должен» отвезти меня домой! У меня слабое сердце. А тут мороз, ветер. Препираться не было сил. Предупредила Сашу, что вернусь через час. Уехали. Артур, довольный, отправился по делам. Я на такси – к Дыбовым.

Он не тупица, умеет жертвовать для других. Но Дыбовы, Лимоновы, Волковы, однажды оскорбившие его пренебрежением, для него дрянь. Какая-то базаровщина с вывертами, недобрая, плебейская! Он знает: это мое поколение, они расшибятся за нас, как бы к нему не относились. Но ему пле-

вать! Как-то он весело назвал: «Вы поколение предателей!» Вы слишком многому верили, и слишком от многого отказались, чтобы теперь верили вам! Не заметив этого, он приговорил наше с ним будущее!

Сегодня на кладбище он еще раз всем доказал свою любовь!

Начну ему объяснять, он опять поймет умом, но не сердцем. Решит, чего доброго, что я ищу повод для скандала. Начнет молча терзаться. Я устала жить с эгоистичным, самовлюбленным ребенком.

Вы такие же как мы, Артур! Меняются времена, не люди!»

У могилы Лары почти не плакали. Белый день, белый снег. На заиндевелых ветках искрилось солнце. Свирепствовал февральский мороз. Мужчины переминались и ежились в серых пальто и без шапок. Женщины промокали платочками глаза и сморкались. Было так тихо, что звенели деревья. Дыбов споткнулся о сугроб у ямы.

До того дня я был на похоронах трижды. Хоронили моих деда и бабушку, приятеля. Кто-то разговаривал за спинами тех, кто у ямы. Бумкала земля о гроб, фальшивил оркестр, плакали старухи.

А здесь интеллигентно молчали. Переживали каждый в себе.

Меня будут хоронить под шепот за спинами. И у могилы Лары мне было грустно, но не больно.

Моя жена, конечно, переживала, но все же заметила, что

я разглядываю надгробья!

Перелистну назад.

«...Глупейшая ситуация. Вытащил меня в бар где-то на Котельнической. Мне только по барам шляться! Сели за свободный столик. Место неудобное. Сквозит в цветную мозаику окна. Снуют люди. Попросила его посидеть у стойки, пока освободятся места. «Здесь не плохо. Потом пересядем». Ему виднее! Закончилась музыка. От танцевального пятючка подошли две девушки и парень. Сказали, что свободно лишь одно место. Он начал препираться. Я поднялась. «Сядь!» Он приказал не мне. А предмету спора, за отсутствием коего исчерпается инцидент. Надменное, презрительное лицо. Это так нелепо! Ребята, вероятно, студенты, недоуменно переглянулись. Этаким молодой буржуйчик. Старуха и скандальный буржуйчик на молодежной вечеринке. Он носит исключительно костюмы, униформу клерков. Даже, когда выходит проветриться. В этом для клерков дисциплина, успех в жизни. Насмотрелся на фотографии моего отца. Там они все в костюмах, как в мундирах. Наконец, ушел в другой конец зала на освободившееся место, а я осталась одна, и ощущала себя голой под взглядами ребят. Скоро он пересадил меня за свой столик. Я заметила ему, коль скоро у него возникло желание развеяться среди сверстников, не мешало бы подумать, место ли мне здесь? Он сконфузился, извинился. Опять получился мелочный скандал.

Меня теперь в нем все раздражает».

Совсем свежая запись.

«...От него пахнет „Турбуленс“. Случайность? Артур не опуститься до пошлости. А если? Дай-то Бог. Тогда все встанет на места...»

И никакого сожаления!

Было. Я позвонил Неле. Впервые за три года. У меня нет иных друзей.

Неля не удивилась. Договорились. Я подъехал за ней. Элегантная женщина, все тот же белокурый барашек волос, все такие же изящные вещи, сумочка, отделанная серебром, дорогое пальто из мягкой кожи. Вместе с ней в салон ворвалась молодость. Что еще мне нужно было три года назад!

– Что случилось? – спросила она так, словно мы расстались вчера.

– Поехали в «Космос» на наше место! – предложил я.

– «Космос» давно закрыт.

– Тогда в Сокольники.

По дороге я рассказал о Лене. Что Неля могла ответить?

– Сейчас это модно. Когда женщина старше! Прости, я не хотела тебя обидеть. Если бы это случилось с другим, я бы смеялась.

Вот и все о запахе «Турбуленс».

Иногда она писала правду.

«...Я не справедлива к нему. Другая бы благодарила мальчика за любовь. Нежданный подарок под занавес. Капризная, сварливая баба, климактерического возраста. Мне тя-

жело с Артуром. Я люблю его. Но мне не двадцать три! «Добавленное время» ушло.

Разойтись? Я не смею решать одна. Остаться вместе? Год-два протянем, пока не осточертеет. Боже, когда-то я боялась одиночества. Теперь отталкиваю Артура...»

Началась затяжная агония. Наш разрыв трехгодичной давности все же смягчала надежда: это не конец! Не известно, что, но что-то еще будет!

Старуху же, умирающую естественной смертью, не реанимировать.

Да, да, Дыбов...

Весной Лена ушла к нему.

Конечно, не в один день, без боя посуды, ругани и хлопанья дверью. Люди ее круга смакуют издевательства над собой, называют это цивилизованным разводом. С улыбкой говорят и слушают гадости. Хорошо это или нет? Если, человек безразличен, безразлично, как он уходит. А если внутри все ноет, все равно взвоешь, хоть ему в лицо, хоть глухой ночью, один в темном чулане. Он тоже взвоеет. Не сейчас, так позже! Любовь справедлива, не в мелочах, а в целом.

Когда они устали терпеть меня, то перенесли свои молчаливые посиделки на квартиру Дыбова. Он вдовствовал с осиротевшей младшей дочерью. Как-то вечером Лена позвонила от них и сообщила, что переночует у Дыбовых – поздно возвращаться. Было всего девять вечера. Я бы приехал за ней, если бы она попросила...

«Да, конечно!» – ответил я воспитанно.

Как часто мы казнимся за несказанное вовремя слово, не совершенный поступок. В ответ на низость, подлость, пошлость, трусость. Прячемся за «умный поймет, дураку не объяснишь». Но что меняет слово, когда все сказано? Да, я любил ее! Она меня по-своему тоже. Но, по существу, я ничего не знал о Лене. Не знал ее жизни. В конце концов,

что такое три года нашего супружества, и десятки лет дружбы Лены и Дыбова!

Еще никто не знал о нашем разрыве, она еще должна была вернуться завтра, я еще трусливо обманывал себя, что обойдется, когда позвонил Кузнецовым, приехал тот час и заперся с Натальей Олеговной на кухне. Спутница генерала по всем их гарнизонам, она была принципиальной сторонницей «от венца и до гроба», и должна была посочувствовать мне. Истерика брошенного мужа. «Что между ними было?» Что-то Дыбов брюзжал мне на скамейке больничного сквера, о чем-то Лена игриво намекала, где-то в ее дневнике на безымянной странице затерялись вкрапления...

Я расплачивался за обычное свое невнимание к людям.

Кузнецовы уже укладывались. С армейской пунктуальностью – в десять. Наташа в длинном халате, с сеточкой на волосах, с рыжими умытыми ресницами, изумленно следила на кожаном диванчике за моими метаниями по кухне. Кузнецов в розовой пижаме за стеной читал газету. Я выложил Наташе вечернее происшествие. Она взглянула на меня, как на полоумного: не ждаль же Лене было меня сорок восемь лет!

– Ничего особенного не было, Артур! Мы все влюбились тогда. Они дружили до четвертого курса...

– И, конечно же, хотели пожениться! – съязвил я.

Генеральша пожала плечами.

«Ничего не было!» Я представил, как верзила Дыбов

(на юношеских фотографиях в мешковатом пиджаке и широченных брюках, солидный, как бревно), получив разрешение пигалицы, озорной Елены Косичкиной, мял запретный бюст, чмокался и мысли не допускал ниже модного у девочек пояска (на всех фотографиях белые пояски). За что и пользовался услугами Лары (прости, покойница!). Интересно, как у них теперь. Удрученный Дыбов и сердобольная Лена. Меня всегда озадачивали пузатые мужики. Ведь этот раздавит моего воробышка. Перештопанную мою!

Я бесился! Издевался над ними, над собой! На черта мне доброта, великодушие? Меня учили им с детства. И что теперь? С чем я остался? Со своей злостью! Каренин в собственном соку.

Ах вы, трогательные старички, просабачившие в молодости свою любовь! Вы знали, вы все, конечно, знали! Теперь дождались своего часа! А мальчишка стал не нужен. Его любовь катализатор закисших трусливых сомнений «можно-нельзя». Как же я ненавижу вас, потрепанные жизнью прагматики-догматики-маразматики...

Я надеялся, что устроен так: любят меня – люблю и я. Не-а! Когда Лена вернулась следующим утром, мое бешенство мышкой притаилось в дальнем уголке сердца. Верный солдат любви стоял по струнке перед своим генералом. «Ты ел?» «Да, не беспокойся!» «Не скучал?» «Конечно, скучал. Но теперь все в порядке!» И ласково так, почти подобострастно улыбался, заискивал. А потом с ненавистью гадал: касался ль

он ее изуродованного тела. Или в кабинете захрапел, с прихлебом, с присвистом.

Не сомневаюсь, они разошлись по своим комнатам. Или страдали до утра, молчали и улыбались. И никогда бы не позволили себе оскорбить меня, пока мы с Леной все не решили. Я не смел заговорить с ней о главном. Тянул, мучился и был счастлив, что она рядом.

Затем, она ушла навсегда. И, взглядываясь – не больно ли мальчишечке! – сообщила: «Ему трудно. Я побуду с ним!»

Вот, здорово-то! Потрясающий оксюморон – необъятная узость гениальных глупцов. Ну, ладно Дыбов уроденный дурак. А Лена? – тут разведешь руками. Мальчик временно, три года, побыл в наставничестве, им попользовались, а теперь в большую жизнь!

Безусловно, логика в ее поступках была. Примитивная, грошовая, для Емели-дурака. И Дыбов не скот, как бы я его не расписывал. Изобретали, поди, вместе, два мудрых воспитателя, как бы мальчику не навредить. Он получит свободу, попереживает, утешится, что бросил не он, а – его. Все образуется. Отступные за расстройство и труд: жилье, прописочка. А дальше, паренек самостоятельный, ухватистый, вывернется.

Вздор! Вздор!

Не знаю, за что я ее люблю! За что собака любит хозяина? Люблю за то, что она любила с вывертами, и по-настоящему. За то, что берегла от себя.

Опять ее дневник. Последние недели.

Все записи похожи по настроению, словно оттиск на копирке. Ни одного доброго слова обо мне! Не бывает так, чтобы, как косой, без зазубрин. Не бывает! И чтобы моя Лена, как бездушная малолетка, раздосадованная разрывом с пареньком, поносила? – не может быть! Возненавидь она, все равно усомнилась. Замкнулась бы. Но не поносила. А тут ни слова сомнений.

Первая запись датирована следующим днем после больницы. Ни слова о ребенке. Она пережила смерть малыша в палате. Если б у нее там были силы, пустые страницы узнали б многое. В больнице Лена все обдумала. И с первых строк (ее ошибка!) принялась херить мой несносный характер, нашу любовь. Знала, я начну шпионить. Просьбами от меня не отделаться. Надо бить жестоко. А для правдоподобия разбавила злословие любовью.

Практически после всякого эпизода, (записанного на память, а не в тот же день!) она обвиняет. А слог! «...стремление добиваться любой ценой, ...овеществление». Наедине с собой человеку хватит полутонов, намеков...

Наконец, фактические ошибки. Телефонный звонок.

Звонили нам редко, и приглашение Паши на день рождения его жены я прекрасно помню. Накануне Омельянович предупредил: их девочка простыла, вечеринку перенесли на другие выходные. «Вот и хорошо, сказал я, Лена тоже нездорова. Пока ничего ей не скажу». Девочка поправились.

Павел сам по телефону пригласил Лену.

Запись появилась через неделю, после дня рождения Юрате. Лена слышала весь разговор. Но исказила его. Хотя педантична в деталях.

Наконец, случай с «Турбуленс». После бритья я пользуюсь одеколоном и кремом. Запах хороших духов, возможно, ароматнее моей парфюмерии. Но я рассказал Лене о случайной встрече с Нелей (невинная ложь!). Мое признание гораздо больший повод для сомнений. Жена не стала пенять, а подложила дневник. Каждая строчка лжи давалась ей трудно. И Лена была лаконична.

И последнее. Как-то я по рассеянности положил тетрадь не под шахматную доску, а запихнул дневник между книг, как это было три года назад. Спыхватился вечером. Но вопреки многолетней привычке, тетрадь лежала под доской.

Уверен, Дыбов не знал о приготовлениях Лены.

Мог ли я добровольно отказаться от этой женщины?

Время шло. Она так и не вернулась!

Наверное, они счастливы.

Первое время Лена навещала меня. Потом, избегая гнетущих пауз, предупредила по телефону и забрала свои вещи, пока я был на работе. Как в пошлейшей мелодраме: муж вернулся, а ящики и шкафы жены пусты. Признаться, глупое и унылое зрелище. Каламбурчик. Из шкафов вынесли одежду, из сердца вынули надежду...

Я как-то видел их, выходящими от Кузнецовых. Респектабельная пара. Она в шляпке под вуалью – давняя склонность к ретро (при мне было неловко). Он в номенклатурной шляпе пирожком, с неуловимым залихватским креном, очевидная женская подсказка. Зрелая элегантная женщина и внушительный друг. Именно друг! Формально Лена оставалась моей женой. Разводиться с мальчиком еще более нелепо, чем выходить за него замуж – зачем же шла? А им расписываться ни к чему.

Видел как-то! Я подстерегал Лену, припарковав машину за углом их дома. Просиживал в соседнем сквере старых лип днями, чтобы хоть миг видеть Лену. Звонил и молчал в трубку.

Вероятно, они замечали на скамейке мою сутулую фигуру, вороватую тень их городских пешеходных прогулок. Но я не докучал им (звонил всего то раза четыре).

Так было первый месяц, пока я надеялся, что Лена вернется. Затем, я стал тихонько сходить с ума. Ночами в соседней комнате слышал ее шаги. Как-то через весь город бежал за Леной – она все в той же шляпке под вуалью, как я видел ее в последний раз – решил: она тайно приходила за вещами. И очнулся ночью в нашей квартире, куда она вернулась из моего воображения. Очнулся, мокрый от жара: из ее комнаты снова доносились шаги. Я испугался и прекратил самостязания.

Неприятность, как уход жены, некоторые лечат алкоголем, другие женщинами. Я – работой. Полагаю, многие ненавидели меня, пока я был счастлив. Теперь же те многие содрали бы с меня живого кожу из любопытства – есть ли у меня сердце? Наши контакты даже с Пашей теперь ограничивались радением о фирме.

Сотрудников у нас было десятка три. Каждый знал свои обязанности. Я уволил неплохого парня, по ошибке прогнавшего через всю страну два вагона древесины вместо Кишинева в Кинешму. Дело поправимое, вычли бы из зарплаты прогон, отработал бы! Приходила его жена. Плакала, объясняла, что они строят дом, им нужна хорошая работа. (Не просто кусок хлеба!) Окончательно решает Ведерников. Но мы не ссоримся по пустякам.

Фирма купила под снос пятиэтажную хрущобу. В подвале жила семья. Что-то у них там с документами не сходилось. Попросили семейку вон! Женщина молила повреме-

нить до суда. Ее муж, интеллигентного вида, в очках и с русой бородкой, один из тех непротивленцев, что, взявшись за руки, молча презирает, до белых костяшек мял ладони. Потом помертвел и сполз со стула. А приусадебные участки. Тогда о Южно-бутовских бунтах не помышляли. Шесть даровых соток разрешили, а закон о земле так и не приняли. Вот у народишки мы и оттяпали дармовщинку под застройку. Люди на власть с самодельными плакатами, угрозами. Да куда против денег то! Возможно, Лена была права: меняются времена, не люди. Но, если сейчас отнимали, как и тогда, не изменилась и времена.

Конечно, это самоистязание, ерничанье. И женщину из подвала жалко, и ее мужа, покашливавшего в кулак и говорившего: «Пойдем, Оля! Ни к чему!» И людей, красных от натужного крика и возмущения, растерянных, как и милиция, забывшая, как бьют своих. Я такой, как вы. Но научился ломать себя. Научился пинать, потому что завтра пнут меня.

Я мог переселить женщину в другой подвал, Ведерников добился бы участка на пустыре.хлопотно, но справедливо и всем хорошо. А зачем? Пришел бы такой, как я. И сделал то же, что делал я. Огородники не вколотили нас с ментами штакетинами в землю. Интеллигент не проломил мне или Ведерникову голову. Они боятся. Значит, не стоят жалости. Придет время, меня не пожалеют!

Скоро я дошел до ручки. У черных копателей купил «парабеллум» времен Второй Мировой. И, когда становилось

невмоготу, доставал оружие из железной коробки – сильное лекарство, которое всегда можно употребить – и мечтал, как расстреляю респектабельную пару. Потом я спрятал коробку.

Спустя полгода я позвонил Дыбовым и предложил размен квартиры. Это было скотство: квартира была Лены. А я мог купить новую!

– Живи там, сколько нужно! – сказала Лена.

– Вдруг твой друг отправиться к жене. Тогда ты там не останешься.

– Хорошо. Я посоветуюсь с Сашей. А ты... переменяйся!

– Вероятно...

Я думал, поползу перед ней на брюхе. Буду лизать ее руки, – умолят вернуться. Ведь только для этого звонил! И она знала это.

Но мы держались молодцами. Превосходные актеры!

Я вспомнил ее фразу среди лжи последних страниц дневника. «Сколько же еще я выдержу! Зачем я мучаю себя! Милый мой, мальчик!»

Надеялся, ждал. Сколько же?

Потом я остался наедине с молчаливым товарищем, декоративным телефоном «Але, барышня!», поблескивавшим позолоченными рычажками. Запрокинул голову на спинку дивана, скрестил ноги на столе и стянул галстук. Стучат фигурные часы, как когда-то, единственное, что осталось от прежней обстановки. Пять лет назад в солдатской форме

я стоял на Курском вокзале. Один в чужом городе. И сейчас – один. Значит, эти пять лет растрочены впустую. А впереди длинная, скучная жизнь! Я буду устраиваться, наживать, тратить. Что стоило времени забросить Лену лет на двести назад, или меня на столько же вперед! А вместо этого короткое прикосновение двух судеб...

Снова август, зеленый и голубой. В редкие свободные минуты я брожу по старой Москве. В ее вечерних улицах и умиротворенных скверах поэзия покоя. Вечерний город, это совсем другой город. Это древние дома, крыши, перекрестки, уголки, парки, церквушки, тротуары, которые провожают трудяг, тунеядцев, безработных, бездельников, спешащих, праздных, злых, добрых. Вечерний город – это настоящий город. Я его люблю.

Иногда в парке, у пруда или у дома я сажусь на скамейку и стараюсь отрешиться от контор и приемных. Трижды в неделю играю в теннис. Спорт хорошая разрядка и прекрасная возможность закрепить нужные связи. Встречаюсь с Нелей. Нас это устраивает. И не обязывает.

Практически вся история на бумаге.

Мы живем в одном городе. Мне уже не кажется странным, что бывших супругов не занимают судьбы друг друга. Приставка, бывшие, вначале болезненна. Затем, неприятна. И, наконец, безразлична. Есть квартиры, в которые мы больше не войдем, в наших записных книжках телефоны, по которым мы больше не позвоним. Может, много позже, когда время упростит то, что сейчас представляется сложным. Иногда меня подмывает узнать о ней. Но общих знакомых у нас теперь нет. Она уже не та Лена, бесшабашная и отваж-

ная сердцем вечная девочка, живет, вероятно, с умным и серьезным мужчиной, и не нужна ей ни моя маята, ни я сам. Позвонить? Я, в общем, не представляю, о чем говорить!

Вот так! А согласитесь, это было не самое худшее время нашей жизни, если я и сейчас пишу: Я люблю тебя, Лена!

ВЕРНОСТЬ

Повесть

В сентябре сразу за коротким бабьем летом северный ветер пригнал облака, и начались дожди. За неделю город, словно, отсырел и раскис. И людям казалось: в этом году не было ни лета, ни солнца, ни тепла.

Александр Николаевич Каретников в футболке, «трениках» и босой за журнальным столиком шевелил губами над измятым тетрадным листом, многократно сложенным пополам и вчетверо, и снова развернутым. Он близоруко шурился, а в самых неразборчивых местах списка, словно нюхал бумагу крупными нервными ноздрями.

– Еще бы тыщенку зелененьких... – Каретников задумчиво поскреб голову тупой стороной карандаша и машинально пригладил вечно всклокоченные волосы.

– Может, мама привезет... – Жена, Вера Андреевна, устроилась с ногами в кресле перед телевизором и закутала стопы полами халата: – Саша, надень очки, – мягко сказала она.

Каретников поерзал на диване. Ему было за пятьдесят. Долговязый и сухой Александр Николаевич был еще статен. Но на макушке, висках и старомодных хиповских полубакенбардах появилась седина. Каретников говорил: «проступила

плесень». Он называл себя старичком, игриво преувеличивая годы, но ревниво следил за приметами возраста. Поэтому всегда ходил энергичной походкой своих длинных, как у журавля ног, даже, когда торопиться было некуда, и носил очки не на носу, а в великолепном кожаном футляре с тиснением – подарок жены на юбилей. С молодости – в прошлом году Каретниковы отпраздновали серебряную свадьбу, – Вера Андреевна заботилась о муже, как старшая сестра о непоседливом брате, хотя была младше на четыре года. Александр Николаевич вечно спорил с женой. А когда «все делал сам», то не находил ни свежего носового платка, ни носков, ни галстука. И сдавался.

Их дочь Ксения то и дело меланхолично поглядывала на золотые часики—браслет, подарок жениха. Это была рослая, в отца, девушка. От Александра Николаевича она получила слегка впалые щеки и очень прямую осанку. От матери ей досталась неброская красота: бледная, чуть в веснушках кожа, узкий рот и серые с голубизной глаза с длинными ресницами. Отец любил гладить дочь по густым светло—русым волосам в завитушках и до плеч. Сейчас Ксения и Борис, ее жених, которого теперь ждали, собирались к каким—то его знакомым – «очень влиятельным людям», – а затем, в ночной клуб «прощаться с холостой жизнью». Рядом с девушкой на полу лежали туфли на шпильках: Ксения ходила в них по квартире – привыкала – и наломала ноги.

– Уж не мама должна нам везти, а мы ей! – отозвался

Александр Николаевич, на реплику жены, пробормотал: – Деньги, деньги, деньги, – и вдруг густо вывел: – Люди гибнут за мета—а—а—а—ал... – закашлял в кулак с неожиданно пещерным звуком, и: – Где же он! Ксюша, Борис обещал в шесть?

– Да.

– Уже седьмой!

– Застрял в пробках в Москве. Погода—то, какая! – сказала Вера Андреевна.

Все невольно посмотрели за окно. Там по—прежнему сек дождь.

– Мог бы позвонить, или эс—эм—эску скинуть, – сказал Александр Николаевич. – Ладно, давайте ка еще раз без него. Его гостей пока пропустим.

Через три дня Ксюша выходила замуж за Борю Хмельницкого, старшего менеджера строительной фирмы. «Зиц председатель Фунт! – шутил Каретников и добавлял: – Сейчас все менеджеры! Сиречь, приказчики!» Родители Ксении осторожно предложили отметить свадьбу по—семейному, то есть без шика: Александр Николаевич работал старшим экономистом НИИ, Вера Андреевна преподавала на кафедре иностранных языков гуманитарного университета. Жили в пригороде Москвы, и цены на услуги здесь были, будь здоров, столичные. «Лучше за границу съездите!» – предложила мать. Дочь ответила: «Так хочет Боря». И решили: «Один раз можно раскошелиться!» Фата, гости, лимузин, словом,

«как у всех» получалось лишь вскладчину со стороны жениха. И чтобы не позориться перед новыми родственниками, продали пианино и одолжили денег

Давно были разосланы приглашительные – гостей и родственников с обеих сторон набралось человек семьдесят, – заказали кафе, прикупили вина и водки, продукты «на второй день». Но как водиться, что—то не заказали, кого—то забыли пригласить, или еще не ясно, придут ли. Роскошное подвенечное платье пришлось подгонять по фигуре в ателье. Все нервничали, суетились, но дела кое—как двигались...

Александр Николаевич разгладил ребром ладони лист и стал бегло зачитывать и отмечать фамилии гостей, десятки раз зачитанные и отмеченные крестиками, галочками, кружочками, стрелочками: в этой арабице разбирался лишь он. Тут карандаш споткнулся.

– Красновские. – Быстро пробормотал Каретников: – Жора и Маша, вроде, будут. Марина с мужем тоже, – и прокашлялся.

Мать мелко вздохнула. Ноздри Ксении расширились. Она разозлилась и на заминку отца, и на вздох матери. Соседи по лестничной клетке были давними друзьями Каретниковых, еще по старой квартире. С детства Ксюшу и сына Красновских, Сережу, считали женихом и невестой. К этому так привыкли, что известие о замужестве Ксюши удивило соседей. Минувшим летом Сергей приезжал в отпуск. Обе семьи надеялись, наконец, «узаконить» отношения детей. «За-

сиделась ты, Ксюха, в девках! – подшучивал отец. – И Сергею пора выйти из Ордена Холостяков. Так сказать, перекрасить масть валета виной. Хватит вам умничать!»

И вдруг без объяснений Сергей до срока уезжает в часть, Ксения молчит. Когда же дочь объявила родителям, что четвертый месяц беременна, и они с Борисом решили пожениться, стало не до любви. Отец лишь упрекнул дочь и зятя: «Что же вы тянете!»

...Красновские были по—прежнему приветливы с Ксюшей, но, встретив ее в общем коридоре, виновато улыбались и торопились к себе.

Ксения объяснилась лишь с матерью. «Мне уже двадцать четыре. У нас разная жизнь. Я здесь. Он там. А с Борей мне спокойней. Спокойней за ребенка».

«А это его ребенок? – иронично спросила мать. – Сергей приезжал в мае, как раз...» «Мам, это не твое дело!»

Вера Андреевна внимательно посмотрела на дочь. Ксения покраснела.

«Надеюсь, моя дочь не игрунья, чтобы морочить головы двум мужчинам?»

«Мам, я понимаю, тебе обидно за Сережку. Но, во—первых: это действительно не твое дело. А, во—вторых, кто бы ни был его отец, это мой ребенок! А разве мой ребенок, – она сделала ударение на местоимении, – не достоин нормально-го будущего?»

Женщины переглянулись.

«Я знаю, мам, что ты думаешь. Но сейчас жизнь такая!»

«Это не жизнь такая, Ксюша, а – ты! Надеюсь, впредь ты не будешь шутить такими вещами!»

Больше они об этом не говорили.

По привычке Ксения следила за новостями «оттуда».

Еще во время учебы Ксении в старших классах по телевизору показывали бородатых дикарей в лесу: они резали головы людям, стреляли в пленных. Затем дикарей начали «мочить в сортирах». После окончания Каретниковой института у них на кафедре иностранных языков кто—то повесил компьютерную распечатку: «поймали группу террористов: Камаз Помоев, Букет Левкоев, Поджог Сараев, Погром Евреев» и что—то в том же духе. Не умно! Вот и вся война. В письмах из командного училища Сергей рассуждал о «Кавказском нарыве» со времен Пушкина и Лермонтова, от Жилина и Костылина до «Тучки» Приставкина и фильмов Сергея Бодрова—младшего. (В армии ребята почему—то пространно философствуют.) С Кавказа он не прислал о войне ни полслова. Возможно, из—за цензуры...

Сергей приезжал в отпуск как всегда смешливый, с короткой стрижкой.

– Ты загорел. У вас там Куршивель? – как—то спросила Ксения иронично.

– Почти.

– И какой у тебя чин?

– Капитан.

– Это много?

– Не очень.

– Ты на военного совсем не похож.

Теперь все это не имело значения.

...Ксения прислушалась к чтению отца. Подумала о Борисе: «Не звонит, значит подъезжает».

В двери постучали.

– Наконец—то! – пробормотал Александр Николаевич и вскочил открывать.

Ксения пододвинула ногой туфли и стала втискиваться в них.

– Ксюша, ну куда же ты их напялишь со своим ростом! – снова мягко возмутилась мать. – В твоём положении! Отличные же лодочки...

– Мое положение еще не заметно, мам! К тому же Боря так хочет.

– Опять Боря! – проворчала мать. – Ты стала душой при нем! С каких пор ты без него ни шагу?

– Мам, не люби Борю, пожалуйста, про себя. А то сделаешь меня матерью одиночкой.

Вера Андреевна недовольно вздохнула. Ксения подумала: «Соседи. Иначе бы в домофон позвонил. Или в звонок у двери». Она прислушалась к себе, ощущая простую и непостижимую тайну жизни. И вновь ей стало жутко и радостно. Это было важнее препирательств с мамой. Важнее Бори. Предчувствие счастья. А все остальное было лично ее, Ксюшиной

тайной, о которой никто не узнает.

Пробубнил мужской голос. Что—то стукнуло о пол. От двери просквозило по ногам.

На балконе тихонько дзинькали бельевые струны о металлические перила.

– Саня, кто там? – Вера Андреевна поводила головой, вглядываясь в прихожую.

В дверях встал муж. Бледный, он, не видя, осмотрел зонтик—трость.

– Тебе плохо? – встревожилась жена.

– Нет. Зонт вот грохнулся. – Каретников положил его рядом со списком и мешковато плюхнулся на стул. Вера Андреевна выбралась из кресла и выглянула в прихожую.

– А где Боря?

– Не знаю...

– Как не знаешь? Что случилось? Ты меня пугаешь, Саша! Тот растерянно посмотрел на домашних.

– Жора приходил... Георгий Иваныч. Говорит, Серегу убили.

На экране телевизора резвились синие и желтые «мульти» с идиотскими рожами, и, словно потешались над глупыми, притихшими людишками.

– Что значит? – Вера Андреевна в недоумении уставилась на мужа.

Он пожал плечами. Тут до нее дошло. Она охнула и села напротив.

– А Маша—то, Маша! – ужаснулась женщина, опрокинула стул и выбежала вон.

Ксения ждала, что ей то отец сейчас все объяснит...

Он, наконец, понял! Нахмурился, щепоткой промокнул нос и ушел. Предчувствие счастья в девушке скукожилось и умерло.

Ксения покачнулась на каблуках. «С непривычки. – И тут же. – Убили?» Но, ведь бородатые дикари, зверство и другая жизнь – по телевизору. При чем здесь они, Красновские, Сережа...

Вот он влезает с дорожной сумкой в такси, в последней, сторбленной позе отбытия. Ксения мгновенно вспомнила, как он ходит, смеется, чихает. Но не смогла вспомнить его лицо...

В распахнутую дверь Красновских заглядывали соседи с лестничной клетки напротив. Круглолицая женщина сокрушенно закивала Ксении из стороны в сторону, и с любопытством вытянула шею из—за спины мужа. Девушка протиснулась между ними.

Зеркало у вешалки задрапировали. Окна зашторили. Ярко горело электричество. У выдвинутого из угла стола боком сидели двое в мокрых плащах. Длинный мужчина с хрящеватым лицом держал шляпу. Он кивнул Ксении. Это был зять Красновских, Вадим. Шляпа? Вадим никогда не носил шляпы! Второй, друг Вадима – Ксения не помнила его имени – горстью машинально смахнул с полировки лужицу, на-

текшую с кожаной кепки, и тряхнул кепкой: брызги мокрым серпом хлестнули о паркет.

В спальне застонали. Девушка вздрогнула, и взглядом поискала родителей. Вадим шмыгнул носом, встал и снова сел, раскинув локти между спинкой стула и столом. Его глаза покраснели.

Вошли Георгий Иванович, невысокий, лысенький толстячок с рельефной червеобразной веной на виске – он был в сером костюме, с чемоданчиком и со шляпой в руке – и Каретников.

– Надо ехать, – потерянным голосом сказал дядя Жора. Его всегда круглое без возраста личико веселого балагура сморщилось, будто он вот—вот заплачет. Но он не плакал.

Володя суетливо поискал сумку. Друг подсказал: сумка в ногах.

«Уже собрались, – подумала Ксения, – а нам сказали только сейчас».

В спальне снова застонали. Красновский, осторожно уравнив вес на чемодане шляпу, было, шагнул туда. Открыл дверь. У широкой постели хлопотала Вера Андреевна.

– Папа, опоздаете на самолет! – послышался голос Марины, старшей дочери Красновских.

Ксения уткнулась в кулаки. Она испугалась внутренней боли, – боль разрасталась в сердце, в груди, кошачьими коготками рвала трахею и гортань, выдавливала слезы, боли было все больше и больше – и от боли не было спасения!

Отец озабоченно шарил по паркету взглядом и шмыгал носом: он тоже боролся с болью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.